

СТИХИ

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

EQUR

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

СТИХИ

ПОСЕВ

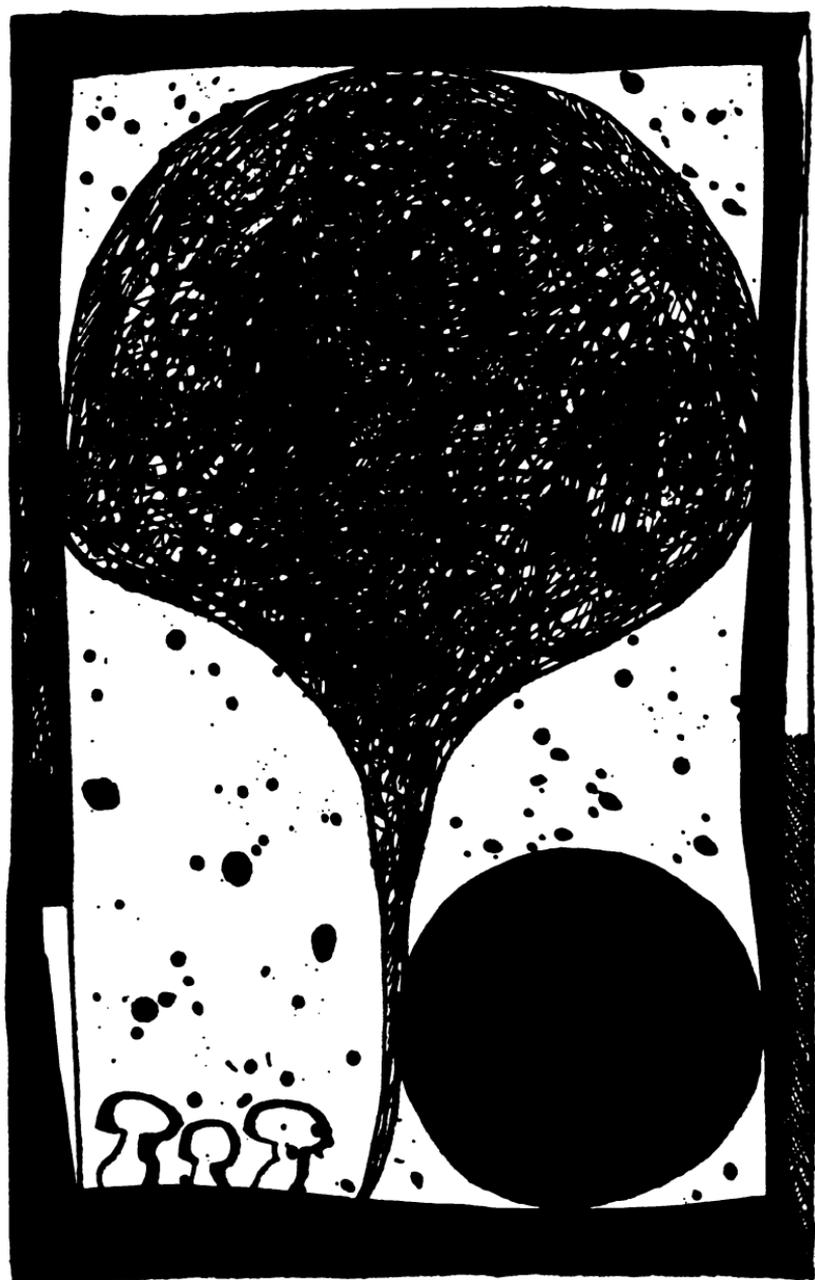
Обложка и заставки
работы художника Р. М.

© 1969. Possev-Verlag, V. Gorachek KG. Frankfurt/Main

Printed in Germany

СТИХИ ИЗ «ФЕНИКС - 61»

стихи 1956-1961 годов



Рыбари невод раскинули...

А невода полным-полны,
Кругом и всюду невода,
И в модный цвет морской волны
Внутри их крашена вода.

А невода кишмя-кишат
Поэтами. И всех оттенков
Иною рыбой. И лежат
Хвосты наперек простенков.

А невода полным-полны.
Мой друг, тебе грозит беда.
Обманчив цвет морской волны,
Кругом и всюду невода.

Мечтательные недоноски
Купались в теплом молоке,
И сохли жеванные соски
В кривой откинутой руке.

Горами двигая, и плача,
И выставя себя на срам,
Ко мне брела моя удача
По этим сдвинутым горам.

А в небесах, как призрак гордый
Или безумный крик «люблю»,
Широкогорлый, длинногорбый,
Качался розовый верблюд.

Какую музыку играют
в этих кафе!
Но в самом деле —
не играть же Моцарта
в этих кафе.

Подпрыгивает белый бантик,
и пальцы, как на пишущей машинке,
стучат по беленьким и черненьким,
стучи, стучи, машинка.
Постриженная современным ежиком,
труби, труби, труби и зазывай,
а скрипка раздирается на части,
а женщина поет, поет, поет
лиловым голосом,
лиловыми губами,
большое лиловое пятно
кольшется
и ходит вдоль.

О друг мой!
Мне становится страшно.
И я говорю: — О друг мой! мне скучно.
И я говорю: — Пойдем, походим
по улицам,
где ходят машины
и ходят люди,
и где машины — это машины,
а люди — это люди,
и падает мокрый снег.

грибной дождь

*Стихотворение, подобно абстрактной картине,
изображающее взрыв большой атомной бомбы.*

Стоголовым папоротником покачулся,
оборотни, оборотни заходили ходунном.
Хороводы — водовороты
небо вывернули кверху дном.

Падают с неба птицы,
солнце в водоросли сорвалось,
по лесу прыгают серые волки,
воет в болоте лось.
Боже! Господи! Где ж Ты!
Рваная, мокрая изнанка облаков.
Боже! Господи! Где ж Ты!
И каков?

Лица Твоего в хаосе
не обнаружу. Гром, лес,
лешие спотыкаются,
приплясывают на облаках небес.
Ведьмы зарю изодрали к чёрту,
окутали клочьями черные бедра.
Земля сейчас перейдет черту
и ринется в воду, не зная броду.

Ах — вот и грибы
стосаженные выросли.
Не сберегли мы, Господи, Твоя милости.

— Ты проснешься ль, исполненный сил.

Н. Некрасов

А! Многоликий —
да ты оказался безлицым,
безглазый, безгубый, безухий,
и только намек на нос
играет посреди.

Ну и пусть остаются с носом
дураки на протертых коленках,
простертые ниц.

Я уйду по асфальту.
Уйду по шоссе и по лесу.
По саду и переулку.
Я уйду от тебя.
Я прохожу сквозь тебя,
как сквозь зеркало!

В крае Ярослава Осмомысла,
В Галички державные земли,
Уронила дева коромысло,
Расплеснула воду по земле.

Наводнены степи конским храпом,
Обнялися дымом города,
По кровавым заднепровским тропам
Двигается Батыева орда.

Задрожали тонкие осины
Над своим любимым ненаглядным...

И поныне русы и русины
Кососкулы и нетверды взглядом.

Опять в висках бессонница гудит,
Опять на голубые перекрестки
Я выхожу. И вижу впереди:
У каждого бульвара на груди
Начерчен крест крошащейся известкой.

Мне падает снежинка на плечо.
Лежит снежинка о шести концах.
И пожелтела в свете фонаря.

Постой, постой! Неверная игра
Мороза и ночного освещения
Меня тотчас же выдаст с головой.
Верь, это мне готовится отмщенье.
Постой, постой!
Не падай, а упав — растай.
Но на плече моем не застывай
Шестиконечной желтую звездой.

Уже в облаву ринулись дома,
Деревья затрещали и ломаются.
И нет пути. И не сойти с ума.
И не зайтись в захлебе декламаций.

И не взойти по лунному лучу,
И не укрыться в узеньком простенке...

Но дайте в руки мне
свечу...

Свечу!..
Известка... сыплется... со стенки.

Мне горе сводит губы. Не сегодня
И не вчера все это началось.
Мне сводит губы горе. Я спокойна.
Я, право, удивительно спокойна.
Сухое горе сводит губы мне.

В вечернем небе светится звезда.
Едва-едва, как тихий светлячок.
Зеленые большие поезда
Уходят. Огонек
Последнего вагона
Дрожит, слабеет, кружится
И вот
Скрывается за темный поворот.

Мне счастье улыбнулось из угла
И снова завернулось в паутину.

В некрологе написано — поэт.
О, как нелепо. Разве не бессмертный?
Бессмертные? Но мир идет на жертвы,
Прислушиваясь к звону эполет.

О, как нелепо. Как болят глаза.
Им странно и не можетя заплакать.
Когда б могли схватить ее за локоть,
Чтоб из ладони выпала коса.

А может быть, судьба его легка,
Ему не подниматься по тревоге.
И шепчем мы, прощаясь на пороге:
— Спи, бедный форвард русского стиха.

Изнеможение любви,
Крути, хрусти плечами сведенными
И эту девочку сорви
Со стебелька ее неведенья.

Она, как зимняя река,
Волненью неоткуда взяться,
Но хлынет лед, и облака
В ее глубинах отразятся.

Тогда следы и стереги
В надрыве голоса высоком,
Как истекают белым соком
Надломленные стебельки...

И дует ветер вдоль реки.

ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ СТИХОВ

стихи 1962-1963 годов



Глядите на подоконник,
на синие стекла во льду,
на потолок и на коврик,
покудова я не войду.

Покудова комната комом
не стала у горла. Пока
она еще кажется домом
от пола до потолка.

Мой милый, скажу я, милый,
и так поведу рукой,
как черный черкес немирный
врывается в русский покой.

Как черным вертящимся дымом
развертывается пожар
и первый язык над домом
взлетает и пляшет дрожа.

Я дрогну от этих жгучих,
от выжженных нежностью рук,
от еле заметных излучин
в значеньи всего вокруг,

от перезабывтых значений
сбивчивых, тихих речей...
Но комната комом. Зачем мне
тот голос негромкий. Зачем?

Мой жребий неумолимый,
бери меня, приучай.
Мой милый, скажу я, милый.
Мой милый, скажу я, прощай.

1962

концерт для оркестра

Послушай, Барток, что ты сочинил?
Как будто ржавую кастрюлю починил,
как будто выстукал на ней: тирим-тарам,
как будто горы заходили по горам,
как будто реки закрутились колесом,
как будто руки удлинлись камышом,
и камышиночка: тири-тири-ли-ли,
и острыми носами корабли
царапают по белым пристаням,
царапают: царап-царам-тарам...
И позапрошлогодний оркестрант,
тарифной сеткой уважаемый талант,
сидит и морщится: Тири-тири-терпи,
но сколько ржавую кастрюлю не скреби,
получится одно: тара-тара,
одна мура, не настоящая игра.

Послушай, Барток, что ж ты сочинил!
Как будто вылил им за шиворот чернил,
как будто будто рам-барам-бамбам
их ржавую кастрюлей по зубам.
Еще играет приневоленный оркестр,
а публика повскакивала с мест
и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал,
и на ходу она шипит: Каков нахал!
А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,
Господь вам просветленье ниспошли.

1962

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром —
разведчиком в болоте комарином,
что на трясушей тропке одинок.

О — рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве — — —
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как тувельки и прочие вещицы,
и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,
и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубаш.

О родина!..
Но вóроны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевою
под уходящими подошвами солдат.

1962

А чего ты? А я ничего.
Я хожу по мостам и проспектам,
по прогалинкам и просветам,
и не надо мне ничего,
ни ответа и ни привета,
и ни голоса ничьего.

А зачем это? А низачем.
Просто я не в аптеке провизор,
а ходок по корявым карнизам,
просто город пронизан лучом,
не имеющим предназначенья,
просто незачем — и низачем.

Я ходок по карнизам и трубам.
Но откуда я? Как объяснить?
То ли города, города рупор,
то ли горя горького нить.

Ах, откуда я? Из раскопок?
Из грядущего? Как знать.
Вся я вытащенный из-за скобок
вопросительный выгнутый знак.
Зацепившись за солнечный круг,
вопросительный сломанный крюк.

1962

Стрелок из лука, стрелок из лука,
стрелок, развернутый вперед плечом,
она трепещет, моя разлука,
оставь ее, вложи в колчан.

И опустишь на песок полигона,
оружье слабое отложив.
А небо пусто. А поле голо.
А горло сходится ото лжи.

Стрелок из лука, а ты ракетой,
а ты бы бомбой, покуда цел.
А в чистом поле.
А под ракитой.
А сокол в рощу улетел.

1962

Вот солнышко. Оно без тиражей
до всех доходит и для всех восходит
и жителя блиндажей и траншей
оно тотчас же к свету приохотит.

Вот месяц. Он один на целый мир,
он непомерно, непосильно юный,
но не себя он хрупкого сломил,
а темноту глубокой ночи южной.

Вот ночь и день, тепло, и свет, и тень,
вот тень моя, вот взрослые и дети.
Тень-тень, пропели дети, потетень,
а это тема в некоем квинтете.

Вот музыка — рояль и граммофон,
а это я стою посередине.
Вот музыка — она громоотвод
от всех трагедий, ото всех идиллий.

1962

анне ахматовой

Опять окончена поэма,
опять последняя поправка,
вот так же режут из полена
косую точность томагавка.

И так долбят на красном камне
косые клинья в Ниневию,
как эти над беловиками
труды и чуда черновые.

Опять окончена. Как будто.
Опять последняя. Казалось.
Какая черная работа.
Какую ты рождаешь зависть.

1962

Пора понять начало всех начал,
к тебе приходит дьявол по ночам,
он прям и прост, как в ставенках
просвет,
его уж нет, когда идет рассвет.

А ты смеешься, губы солонны,
как девочка, упавшая с луны,
не слышавшая имени греха,
и засыпаешь с криком петуха.

Но вот они, тетрадные листки,
оруженосцы страсти и тоски,
строители заброшенных дорог,
дарители непрошенных даров.

Откуда же такая в горле сушь?
Так это он, улавливатель душ,
так это он бессмертье заменил
мучительною скляночкой чернил.

1962

Мой Фортинбрас, мой бедный брат,
вот Дания моя,
она из моего ребра,
и вся она, как я.

И вот тебе моя игра,
теперь она твоя —
и путь добра, и тьма преград,
и тайна бытия.

И всё, и всё мое прими.
Или постой, повремени,
намеренье перемени,
еще ты не король,
ступай, ничем не прогреми,
не трогай эту роль.

1962

Но это только ветра свист,
протяжный ветра свист,
и жизнь моя, как чистый лист,
осенний легкий лист.

Кружи, какая-то печаль,
насвистывай, свирель,
кого-то нет, чего-то жаль,
метель, метель, метель.

Мне до апреля не дожить,
метели завывать.
Кого жалеть? Кого любить?
Кого не забывать?

Кого мне помнить? На кого
глаза не поднимать,
свое чудное торжество
не знать, не понимать.

1963

Всё равно потом
нипочем не вспомнят,
был ли Данте гвельф
или гибеллин,
и какого цвета
флаг,
и был ли поднят,
и в каком огне
себя он погубил.

Ох, могила братская,
сторона арбатская,
во Флоренцию махнуть,
помолиться,
Алигьери помянуть,
поклониться.

1963

О город, город, о город, город,
в твою родную рвануться прорубь!

А я на выезде из Бологого
застряла в запасных путях,
и пусто-пусто, и голо-голо
в прямолинейных моих стихах.

И тихий голос, как дикий голубь,
скользя в заоблачной вышине,
не утоляет мой жар и голод,
не опускается сюда ко мне.

Глухой пустынный путейский округ,
закрыты стрелки, и хода нет,
Светлейший город, железный отрок,
весенний холод, неверный свет.

1963

Я в лампу долю керосина.
Земля моя, как ты красива,
в мерцающих высях вися,
плетомая мною корзина,
в корзине вселенная вся.

Земля моя, как ты красива,
как та, что стоит у залива,
отдавшая прутья свои,
почти что безумная ива
из тысячелетней любви.

Земля моя, свет мой и сила,
судьба моя, как ты красива,
звезда моя, как ты темна,
туманное имя Россия
твое я носить рождена.

1963

ГРАНИЦА СВЕТА

Стихи 1964 года



Что о беде да что о красоте,
когда само обмана захотело
нагое, как разбойник на кресте,
счастливое, беспмятное тело.

Кто плачет и курлычет надо мной,
перелетая снежную границу,
где ветер зимний, ветер ледяной
выстуживает светлую криницу.

И в неземной сведенности страстей,
в разлуке рук, в разреженном дыханье,
как на кресте, и тихий хруст костей,
как на костре и треск, и полыханье.

три стихотворения иосифу бродскому

1

За нами не пропадет
— дымится сухая трава.
За нами не пропадет
— замерли жернова.

За нами ни шаг и ни вздох,
ни кровь, ни кровавый пот,
ни тяжкий кровавый долг
за нами не пропадет.

Огонь по траве пробежит,
огонь к деревьям припадет,
и к тем, кто в листве возлежит,
расплаты пора придет.

Фанфара во мгле пропоет,
и нож на стекле проведет:
за нами не пропадет,
за нами не пропадет.

2

Равнодушный Телеман,
дальночеловек,
отчужденья талисман
в этот черный век.

Телеграф и телефон
вон из головы,
отрешенья Пантеон
в кончиках травы.

И надежда, что свихнусь,
в венчиках цветков,
закричу и задохнусь
в тяжести венков.

Мне бы в воду, мне в огонь,
в музыке — пробел.
Глухо запертый вагон —
музыки предел.

3

Мой сын мал. Он
говорит вместо «музыка» — мука.
Но как прав он
в решении лишенья звука.

Мой мир велик. Но и в нем
царит вместо музыки мука.
Над рампою лампой, огнем
меж правом и правдой разлука.

Мой мир не велик, но далек,
в нем выживут долгие ноты,
протяжно ревет вертолет,
протяжно стучат пулеметы.

Куда полет? Куда порыв?
Или как ветер листья носит?
Или — как почта письма носит,
загадки писем не раскрыв.

Да помнишь ли сама слова,
которые ты произносишь,
в чужие ящики заносишь
и в незнакомые дома,
смотри, как не туда забросишь —
сума, тюрьма иль сулема...

В аракчеевом Чудове
на вокзале сплю,
засыпаю, просыпаюсь,
электричку жду,
чуть ли не сны
во сне смотрю,
чуть ли не плачу
у всех на виду.

Вокзал да казарма,
да шпалера деревоц,
да шпалера журавлей
на юг, на юг,
проснуться — не проснуться,
зареветь — не зареветь,
журавли во сне
себя не узнают.

Казармы да базары,
фанера да жечь,
подстреленный журавль
взлетает в вышину,
на месте вокзала
пожар зажечь,
чем ярче — тем жарче,
в высоту и в ширину.

Вокзал стоит,
фонарь горит,
у зажигателя
смятенный вид,
не подвигается
дело к весне,
во сне попутал Господь,
во сне.

За рифмой не гонюсь,
за славой не гонюсь,
ни за тобою, всех перепродажа,
ищи-свищи, скачу — не оглянусь —
воробушком по крыше Эрмитажа.

Воробушком, ободренным в боях,
наперекор непробивному ветру,
но белому, нелепому по свету,
корабликом во вздыбленных морях.

Твой взгляд ложится мне в глаза,
как на плечи ложатся годы,
как предсказаньем непогоды
к земле, покинув неба своды,
ложатся птичьи голоса.

И как он полон, легкий взгляд,
такого тяжкого давленья,
как на конце стихотворенья,
где рифмы сбились все подряд,
уж ничего не говорят,
но руки ломают и горят...
И всё же нет во мне смиренья.

Только пламенем в пролете
лестничном — живи-гори —
пол иль потолок пробьете,
руки вздетые мои?

До котельной, до подвальной
иль железом листовым?
Для кантаты погребальной
ни за чем не постоим.

Саксофон завел акафист,
а закат-то занялся,
и, раскрасившись о кафель,
я врываюсь в небеса.

Куда ж ты, сердце? вечно ни к селу,
ни к городу — ни к кораблю, ни к дому.
Кого проклясть пора — не проклянута.
А с кем остаться — уйду к другому.

И птица сбита с толку, если путь
над океаном сердцем выбирает,
на парусник садится отдохнуть,
но в кровь — но грудь о трубы разбивает.

Вот оно, кино,
всё накалено,
полотно цветное
затрясло от зноя,
затрясло ковбоя,
затрясло коня,
затрясло меня,
застрелю кого я?

И сладостно, и сладко, и несладко,
и сладу нет, и слава недобра,
бульвар Страстной, отгадка и загадка,
и я одна — одна и не одна.

И сладостно, и холодно, и холод
сжигает набегающую страсть,
и волны в плечи бьют, и луны ходят
вокруг меня, грозя в глаза упасть.

Так тлеет холод, пламень пламенеет,
и сладу нет, и слава ни к чему,
и слабый возглас на губах немеет,
окончу слово прежде, чем начну.

А ты, свеча, решил, что я подсвечник
твоим очам и воску твоему,
что посреди ночей крошечных вешних
лишь твой глядит дрожащий свет во тьму.

Но свету свеч граница подоконник,
но трепет занавески — твой Борей,
но где уверенней огнепоклонник,
чем за двойною рамой в ноябре.

Я не огонь и не свеча, но свет,
я светлячок в запутанной и мокрой
траве. Трава спешит за мной вослед,
и зверь лесной бежит ко мне, умолкнув.

Светлеющий слабейший светлячок,
слабеющий светлейший червячок,
чьим светом своды ночи не пробиты,
не выведены звезды на орбиты.

Что-то со мной, что-то
или почти ничего,
Как самолет в штопор,
в свое вхожу естество.

Шкуру с себя спокоенько
стягиваю, как пальто.
Кто-то со мной, кое-кто,
некто или никто.

Какое счастье наконец
с проклятым Питером проститься,
соломенный содрать венец,
навек в обратный путь пуститься.

Какое счастье на коне
влететь навек в родные степи,
о счастье, наконец ко мне
явилось ты, и горький трепет

прощания уже меня
да не коснется, не коснется,
поглажу по щеке коня,
и он один мне улыбнется.

Ничего за собой не оставляю,
жгу корабли,
горю, горю, не остываю,
остынь, не гори.

В пустыню степи направляю,
в желты пески,
щепы за собой не оставляю,
ни щепы, ни строки.

Любовь моя — рассеянное облако,
то ли рота снегирей, то ли стая
кораблей.

Любовь моя — ворованное яблоко,
чем кислей, тем слаще, чем слаще, тем кислей.

Любовь моя, где ходишь по ночам ты?
Тревожишь задремавшие почтамты
лиловым разлинованным конвертом,
иль в подворотне плачешь, как бывало,
или пронзаешь темноту бульвара
транзистора хрипеньем безответным?

Как безответны хрип его и вой
и треск и стон, так вдвое без ответа
кричишь, любовь моя, и бьешься головой
в трамвайное стекло, границу света.

Утраты мои по утрам ощутимей,
навек с пустынной подушки встаю,
дома в две шеренги стоят, оцетинив
антенны, как сабельки в пешем строю.

Навеки на улицу, между рядами
солдати́ков с глазками окон пустых.
По радио снова с утра передали
в Последних известиях
последнее прости.

Пить пойдем! — зовет перепелка.
Отчего же не пойти?
Где-нибудь пробьемся, так перепьемся,
всё пропьем, как-нибудь перебьемся,
как-нибудь, как-нибудь.

Ах, перепелка, зови меня в поле,
зови под пули, зови меня в ад,
пропью ли всё, не всё ли —
не всё равно ли,
всё равно никто ни в чем не виноват.

И ты, перепелка, неумолка,
ты — нет, нет — не виновна ни в чем,
просто жизнь — это Божья обмолвка,
одна бутылка — вечная обновка,
от жажды умираю над ручьем.

В тридевятой жизни, счастливая
случайность,
единожды увидеть единственное лицо,
единственного лица глухое мерцание,
в тридевятой жизни, в тридесятом
царстве,
молчание, мерцание — и больше ничего.

— Не тронь меня! — кричу прохожим,
не замечающим меня.
Чужие комнаты кляня,
слоняюсь по чужим прихожим.

Но кто пробьет окно в стене?
И кто протянет руку мне?
Горю на медленном огне.

Не избыть беды, не избежать беды,
не забыть, не сбежать. Не испить воды,
ни ручья зачерпнуть,
ни пригубить кувшин,
ручьи горячи,
кувшины страшны,
перекошены,
как лицо мое
незнакомое.

три стихотворения, написанные в
дороге

1

Утро раннее,
петербургская темь,
еду в Юрьев
на Юрьев день.

Утро синее,
солнце в гробу,
еду по свету
пытать судьбу.

Под фонарями
и то не светло,
по улице Бродского
иду в метро.

2

Но Кюхля Дерпту предпочел
водовороты декабризма,
от Петербурга слишком близко
спасительный тот был причал.

Нет, пол-Европы проскакать,
своею жизнью рисковать
в руках наемного убийцы
и, воротясь к земле родной,
как сладостною пленой,
кандалной цепию обвиться.

Господи, все мы ищем спасенья,
где не ищем — по всем уголкам,
стану, как свечка, на Нарвском шоссе я,
голосую грузовикам.

Знаю ли, знаю ли, где буду завтра, —
в Тарту или на Воркуте,
«Шкода» с величием бронтозавра
не прекращает колеса крутить.

Кто надо мною витает незрим?
Фары шарахают в лик херувима.
Не проезжай, родимая, мимо,
иначе всё разлетится в дым.
Не приводят дороги в Рим,
но уходят всё дальше от Рима.

Прохожий — проходи!
Проезжий — проезжай!

Свеча в окне чади,
и стынь в вагоне чай.
И все при деле так,
что некогда взглянуть
по сторонам, и так,
что не о ком вздохнуть.

При деле, как свеча,
как чашка с кипятком,
как инвалид, стуча
в полтинник пятаком,
в зубах зажав картуз
и, глядя, что дают,
скосив глаза ко рту.
Но тут не подают.

Качается вагон,
качается костыль,
и кажется ногой
дубовая бутылъ,
и горльшком об пол,
и горлом о косяк,
и всем лицом в подол,
совсем глаза скося.

Припав к теплу колен,
локтей, кистей, колец,
почуяв, захмелев,
качаниям конец,
при деле, как в огне

темнеющий фитиль,
как наотлет к стене
отставленный костыль.

Тоску в тоску продев,
как тень свечи в углу,
при деле, как предел
и роду и числу,
как недопитый чай,
качаемый в пути...

Прохожий, проезжай.
Проезжий, пролети.

Шарманка, пой, шарманка, вой,
шарманка, в прорубь головой,
ах, в заколоченном саду
поет шарманка раз в году.
И снег идет, и тает лед,
и тает снег, и лед идет,
ломая льдины на пруду,
поет шарманка раз в году.
И тает снег, и плачет пес,
и я своих не прячу слез,
и щек намокших не утру,
кричит шарманка на ветру.
Шамань, мошенничай, шуми,
но душу вынь и всю возьми.
На заколоченном пруду
и в замороженном саду
и всюду, в небе и в аду,
поет шарманка раз в году.

Сила соленого ветра,
света, листвы и воды,
свитер небесного цвета,
выцветший до слепоты,
лодка, стучащая в дальних
волнах, и вскрик на песке,
след мой невысохший вдавлен
в дюны, песок на виске.

Поверните небо вспять,
опустите небо в море,
молчаливое в немое.
Помогите морю встать,
поднимите море в небо,
синеву в голубизну,
высоту и глубину
приведите в уравниенье.

Уравнять себя и мир,
мир и Божию коровку,
а короткую волну
с той, что тянет нас ко дну,
и уйти на дно, негромко
хлопнув мокрыми дверьми.

Смиренно опущу глаза
перед чужими чудесами
на полчаса, и полчаса
стою, как мальчик под часами.

Не отведу притихший взор
от краешков своих ботинок,
в руке цветы сомну, и сор
войдет в неравный поединок

с летящим ветром, лепестки,
со мной расстаться не желая,
на тыльной стороне руки
зацепятся, как неживая

рука цепляется за то,
что ухватила перед смертью, —
за руку друга, за пальто,
за пуговицы, за бессмертье.

Так, с непокрытой головой,
усыпанная лепестками,
я срок свой получасовой
стою, как мальчик под часами.

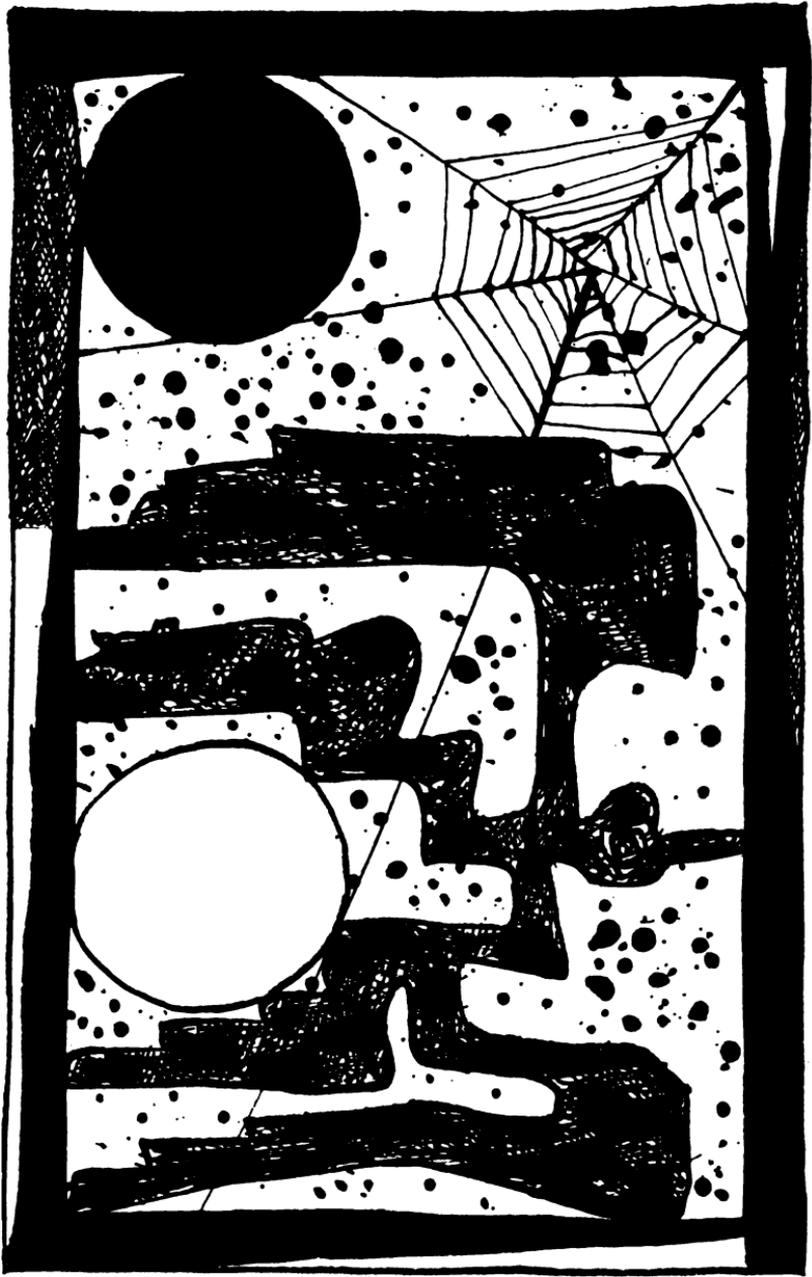
Выстаиваю полчаса,
покрытая цветочным сором,
разглядывая чудеса
полуприкрытым сонным взором.

И как ладошка неживая,
уже лишенная тревог,

еще лишённая свечи,
ещё откинута косо,
отбывши под часами срок,
уже чудес не ожидаю,
и кто-то задаёт вопросы,
а кто-то шепчет мне: — Молчи.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

стихи 1965 года



Говорить разучусь,
не совсем, так по-русски,
со всеми разлучусь,
не навек, так на годы,
нет меня ни
у Невы, ни у Таруски,
переменила
я слова и глаголы.

Свинцовые волны,
чужое море,
сосновые чёлны,
сухие весла,
а паруса
проедены молью,
а голоса
шуршат, как известка.

Moja przeszłość zginęła,
a przyszłości nie będzie,
obcego legionera
nie zostawcież w nędzie.

Но и там меня нету,
сколько зим, столько лет,
проплывя через Лету,
простывает мой след,
остывает горло,
холодеет щека,
и рука примерзла
к руке на века.

О жизнь моя, междометие,
о нечленораздельная,
о смерть моя незаметная
осеннего растения.

Что, дорывалась распятия?
Что, добивалась плахи?
Оборванная и смятая
нитка из рук у пряжи.

О пряжа Господа Бога,
священная паутинка,
растоптана и убога,
на подошве чьего ботинка?

О жизнь моя — не выговорить!
О смерть моя — ну и что?
А вы говорите, это вы говорите,
что ничто ни из чего и в ничто...

Ах, откуда я?..

А я откуда? Из анекдота,
из водевиля, из мелодрамы,
и я не некто, и я не кто-то,
не из машины, не из программы,

не из модели. Я из трамвая,
из подворотни, из-под забора,
и порастите вы все травую,
весь этот мир — не моя забота.

А я откуда? Из анекдота.
А ты откуда? Из анекдота.
А все откуда? А всё оттуда,
из анекдота, из анекдота.

Со страниц моих
исчезает свет,
вкось и вкривь
перо скрипит,
не на час, не на миг,
исчезает навек,
в заросли крапив
моя Муза спит.

Она спит, лопухом
коленки укрыв,
в тени крапив,
как под сенью ив,
в волосах репы,
на щеках ручьи,
а перо мое скрипит
и вкось и вкривь.

Без нее, одна,
на века, на века,
мне моя рука
не видна, не видна,
и последний свет
оседает, как снег,
как последний снег,
как под солнцем снег.

И вовсе нету ничего — ни страху,
ни цепенья перед палачом,
роняю голову на вымытую плаху,
как на случайного любовника плечо.

Катись, кудрявая, по скобленным доскам,
не занози разинутые губы,
а доски ударяют по вискам,
гудят в ушах торжественные трубы,

слепит глаза начищенная медь,
и гривы лошадиные взлетают,
в такое утро только умереть!

.

В другое утро еле рассветает,

и в сумраке, спросонья или что,
иль старый бред, или апокриф новый,
но всё мне пахнет стружкой сосновой
случайного любовника плечо.

прощание с Кюхельбекером

Холодно ли, Виленька, в Сибири,
в азиатском сугробе?
Потеплеет, Виленька, в могиле,
во гробе, у земли в утробе.

Будет и тепло, будет и пекло,
горше не станет,
уплывет с водою горстка пепла
по весне, когда снег стает.

Пеплом — стихи, трагедии — прахом,
жизнь — по ветру летящим.
Кланяйся, Виленька, повешенным братьям,
братьям старшим, прахом ставшим.

неоконченные стихи

Уж полночь, и фонари
горят через один,
теперь до утренней зари
по городу броди.

Ночь соскребла с фасадов год
и соскоблила век,
и город пуст, как огород,
но город, как ковчег,

плывет, плывет и вот всплывает
в рассветный холодок,
и меж окон и у ворот
проступит век и срок,

и ты очнешься на мосту,
над Яузой, в слезах...

И к сладости дождя примешивая слезы,
губами славливая эту соль ресниц,
я счастлива. Ты счастлива? Проснись,
еще укрыты в мокрых тучах звезды,

и в темных небесах лишь полосы воды
вычерчивают видимые знаки,
а свет луны в далекое изгнание
неправедные сплавили суды.

Сверчок поет в сочельник,
в январский понедельник,
и звон колоколов
плывет среди сугробов,
едва-едва затронув
их краешки крылом.

Поет сверчок в сочельник,
молчит мой гость случайный,
а звон колоколов
в глубоком снеге тонет,
в высоком небе тает,
в пространстве без углов.

Зато в углу у печки
сверчки, как человечки,
стрекочут, а кругом
и тает звон, и тонет,
но на прощанье тронет,
коснется нас крылом.

На шею вешаюсь, как ладанка и крест,
но всё безбожники, безверники окрест.

Рванут покрепче шелковый шнурок,
и медный крест в пыли лежит у ног.

И я, в камнях застрявши головой,
распята на булыжной мостовой.

И сыплется из ладанки песок,
вчера еще родной земли кусок.

И затихают дальние шаги,
и влажен камень у моей щеки.

От возраста дошкольного
до звона колокольного,
до звона погребального
от вас я не избавлена,
советчики, попутчики,
раскормленные лучники,
худые арбалетчики,
с меткою на плечике,
дьявола разведчики.

Но в звоне том, но в том году
я дымом к небесам взойду,
взойду, как дым, в небесный храм,
а вы долой, домой, к котлам,
к своим котлам, несчастный хлам.

Не сокруши меня ты, Господи,
не проиграй меня в очко,
не прогони бродягой по свету
идти, не веря ни во что.

Ты, что по морю яко по суху
прошел, ступая широко,
не отпусти меня без посоха
в земных страданий решето.

Ты, Боже, Сыне Человечий,
коли решил на эти плечи
ярмо с бубенчиком надеть,
не отпусти меня свободной,
не попусти в ночи холодной
душе моей заледенеть.

воскресенье

День стирки и стихов. Склоняясь над тазами,
ворчу и бормочу, белье в руках кручу,
а белое в ведре зеленом кипячу,
а пена мыльная дрожит перед глазами.

Как радостны стихи, вертясь во рту моем,
как радужны круги, в глазах моих качаясь,
а розы, на поплине мокром начинаясь,
поплыли на стенáх, на стёклах, за окном.

Но под конец игры отяжелеют руки,
и не в игру игра, и в горле как дыра,
и, протянув веревку посреди двора,
я с голосом своим не оттяну разлуки.

Любовь, любовь! Какая дичь,
какая птичья болтовня.
Когда уже не пощадить,
не пожалеть меня,
то промолчи. Да, промолчи,
не обожги моей щеки
той песенкой, что, заучив,
чирикают щеглы.

Той песенкой, где, вкось и вкривь
перевирая весь мотив,
поэт срывается на крик,
потом на крики птиц,
потом срывается на хрип,
на шепот, на движенье губ,
на темное наречье рыб
и на подземный гул.

Любовь из каждого угла,
всего лишь пища для стихов,
для глупой песенки щегла,
для крика петухов.
Так промолчи. И помолчи.
Коснись рукой моей щеки.
Как эти пальцы горячи.
Как низки потолки.

Но нет меня в твоём условном мире,
и тень моя ушла за мной вослед,
и падает прямой горячий свет
на мой коряворукий силуэт.

Опять моя отрада мерить мили
в грохочущих, как театральный гром,
грузовиках, ободранных кругом,
и взмахивать рукою, как крылом.

Одни дороги мне остались милы,
и только пыльный плавленный асфальт
из-под колес бормочет: — Не оставь,
не доезжай, Наталья, до застав.

Одни дороги мне остались милы.
Опять моя отрада мерить мили.
Но нет меня в твоём условном мире.

Окраины враждебных городов,
где царствует латиница в афишах,
где готика кривляется на крышах,
где прямо к морю катятся трамваи,
пришелец дальний, воздухом окраин
вдохни хоть раз, и ты уже готов,
и растворён навстречу узким окнам,
и просветлён, подобно крышам мокрым
после дождя, и всё твое лицо
прекрасно, как трамвайное кольцо.

Расти во мне, тревога,
смотри в четыре ока
на ясный небосклон
с полоской облаков.

Расти, как тяжелеют
те, что еще белеют,
те, что еще пока
зовутся облака.

Смотри, как тяжелеют, —
уже и не белеют,
уже в железо туч
не просверлится луч.

Расти во мне глубоко,
как снег внутри сугроба,
да не растай, пока
не тают облака.

Ни элегий, ни од, ни эклог,
только горького кофе глоток
да коптилки флажок в потолок.

Мой потерянный рай, засыпай,
засыпай, как звереныш слепой,
я захлопнула дверь за собой.

Зацепясь за ореховый куст,
в темноту его смаху уткнусь,
и скользнет по губам холодок,
как остывшего кофе глоток.

Снежинки на ресницах закипают,
и дымом заслонился горизонт.
Меня сожжет моя тридцатая зима,
но это знаю только я сама.

Не потому что ты, не потому что я,
а просто выгорала из-под ног земля.

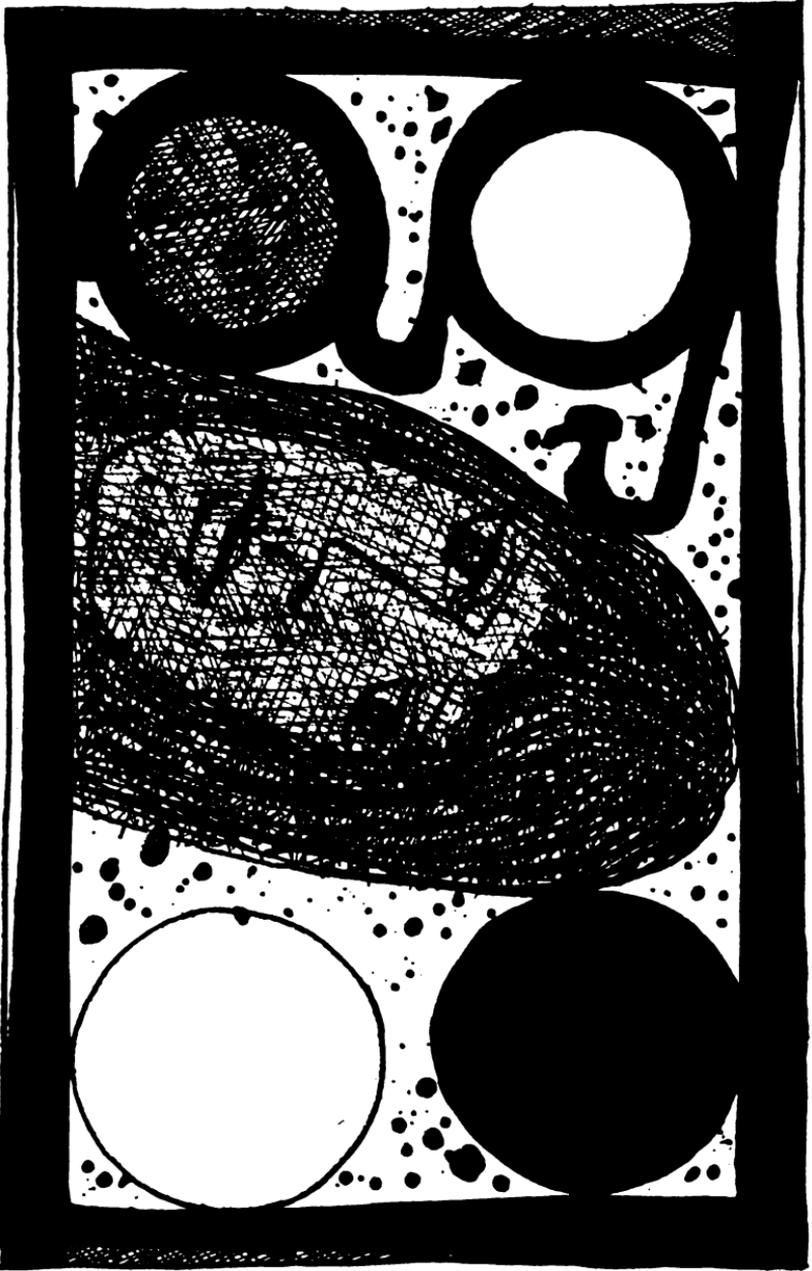
Не потому что я, не потому что ты,
а просто лето, нас обняв обоих,
поставило меня перед тобою
так близко, что уже не отойти.

Вчерашний жар с железных крыш спадал,
и духота стихала перед утром,
но, возносясь над сонным переулком,
из трех окон не утихал пожар.

И при разлуке слез не пролилось
ни из одной глазницы обожженной,
и до сих пор, как факел обнаженный,
я вся смолой пропитана насквозь.

ТЕМНОТА

стихи 1966 года



Любовь проотрицав,
попасть в ее тенёта,
отнять от слов темноты,
как руки от лица,

и взвидеть света взрыв
над городом и лесом,
как Кирие элейсон,
как мартовский призыв,

и моцартовский хор
над громким ледоходом,
как тот блаженный холод,
плывущий с белых гор.

У радостного Моцарта весло,
у горестного Моцарта ветрило.
Бесслезной скорбью скулы мне свело,
и музыка глаза не просветлила.

И горькое средьзимнее тепло
меня в сугробы мокрые ввинтило.
У радостного Моцарта — светило,
у горестного Моцарта — крыло.

Им всё равно обоим не везло.
Трещи, ветрило, и плечи, весло.

Вот и взвидишь ты небо в алмазах,
как посыплются искры из глаз
и, кровавые слезы размазав,
ты качнешься в якутскую грязь.

И лопатками утопая
под втаптывающим сапогом — — —
а кругом синева такая
и сверкает огнем окаем.

И в разбитых очков совершенство
ты увидишь, что мир — хорош!
О ничтожество, ты блаженство
даже в этих алмазах найдешь.

Światła i świata piękności,
света и мира красы,
капельки легкой росы,
вас помянуть бы не к ночи.

Чтобы не светлыми сны,
чтобы не ясными зори,
чтоб и во сне — о позоре
мертворождающей весны.

Ю. Галанскову

В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.

Там во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.

Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой.

Ты — горе мое. Ну, горе мое, засмейся.
Веревочки вьет из меня туманный месяц.

Но всё не о том, да нет, не о том глотаю
слезы,
хватая, как рыба, белым ртом холодный
весенний воздух.

Ну, горе мое, улыбнись, проскачи по той
дорожке,
где исступленный дятел стучит
да теремок замшелый торчит
на курьей ножке.

с у х а н о в о

Безлиственная легкость
пустых апрельских роц,
зеленый мох, прозрачный
ручей, холодный хвоц.

Беспамятная легкость
как сном размытых слов,
прозрачный день, зеленый
осинник в сто стволов.

Реки изгиб холодный,
и в дальнем далеке
скрипит прозрачный ветер
в румяном ивняке.

Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень,
и самый воздух, как печаль, бесплотен,
и в полной тишине летучим войском
висят вороны в парке воронцовском.

Но ветхая листва из лет запрошлых
к моим локтям цепляется, к ладошкам
прокуренным, и в спутанные кудри
пустой кустарник запускает руки.

Я так далёко отошла от дома,
как самолетик от аэродрома
в густом тумане в темень отплывая...
Жива, мертва, листва или трава я?..

Афродита, белая пена с плеч,
как росток изогнутый, в небо ткнись,
то ли грязный помазок, то ли плеть,
просыхает ботичеллиева кисть.

Мастер подкошенный от холста
отошел и взглядывает тяжело,
Афродита, мокрые волоса
провисают, как эротово крыло.

Афродита, облачко, в наш век
залетишь ли из его худых рук,
краски капелька, вниз-вверх,
полоса — складка, грудь — круг.

А это не жизнь и не площадь,
а просто пустой балаган,
сопит в загородочке лошадь,
сквозит холодок по ногам.

И спущены флаги снаружи,
трапеции сняты внутри,
желтеют и кружатся стружки,
тускнея дрожат фонари.

Так сматывайте веревки
и шаткий грузите фургон,
до самой последней ночевки
остался один перегон.

Смахни со щек блаженство полусна
и разомкни глаза до в веках боли,
больницы грязнота и белизна —
как добровольный флаг твоей неволи.

Больницы пустота и теснота,
закрой, замкни глаза до боли в щёках,
смахни улыбку с вытертого рта,
но удержи напрасный в горле клёкот.

Больницы полутьма и полусвет,
и твой сосед, с закрытыми глазами,
незримо проклиная белый свет,
неслышно заливается слезами.

В моем родном двадцатом веке,
где мертвых больше, чем гробов,
моя несчастная, навеки
неразделенная любовь

среди этих гойевских картинок
смешна, тревожна и слаба,
как после свиста реактивных
иерихонская труба.

В покрике, посвисте птичьем,
окно растворив, растворюсь.
Пред перелетным величьем
забьюсь, как домашний гусь.

Белое пламя отлета
гаснет. Заоблачный клеткот
глохнет. В небе пустом
машет сорока хвостом.

ш е с т и с т и ш и я

1

А день зацепился за тень
от дерева и не уходит,
шевелится ржавым железом,
последним лучом голосит,
и тихое эхо за лесом,
как на небе солнце, висит.

2

О счастья, как о прохладе,
а город с утра лихорадит,
асфальт под ногами плывет,
а тот, что мне волосы гладит
горячей рукой, безотраден,
как марево...

3

Я строю, строю, строю,
но всё не Рим, а Трою,
и Шлиман на холме,
с лопатой и с лоханью,
дрожая от ожиданья,
сидит лицом ко мне.

4

Прощай! — и сама удивлюсь,
как ясно и холодно станет,
как дождь моросить перестанет.
Прощай! — словно ковшик прольюсь
в широкую чистую реку,
в глубокую тихую Лету.

Горсточку воды
в форточку плесну,
мокрые следы
к нецветному сну,

легких горемык
одинокий сон,
вдруг ужасный крик
изо всех окон,

изо всех дверей
пеши, на конях,
девушка, еврей,
конюх и монах,

мальчик на осле,
клоун колесом,
и по всей земле
прерван тихий сон,

и со всех сторон,
изо всех окон,
как последний стон,
благовеста звон,

изо всех окон
благовеста глас,
и со всех икон
выцветает Спас.

Попроси, проси:
«Господи, спаси,
на святой Руси
мимо пронеси!»

Но иконный лик
изо всех ворот,
словно восьмерик
на восемь сторон,

словно четверик
на восьмерике,
где безглавый крик
на одном крюке,

где везде окрест
с четырех сторон
на незримый крест
карканье ворон.

Крест-то кто-то сдал
на металлолом,
стал его металл
скошенным крылом,

белый бомбовоз
над землей кружит,
а земля без слез
тихонько дрожит,

а земля без слез,
как побитый пес,
а по ней враскос
тень его колес.

Что вам нелегко?
Просто Страшный Суд,
просто никого
больше не спасут,

тень его хвоста,
круче высота,
нет на вас креста,
и земля пуста.

Ветер свысока,
с напряженных скул,
горсточку песка
в форточку плеснул.

... и теплых желтых звезд мимозы
до лета нам не сохранить.

И Ленинградского вокзала
привычно резкая тоска,
как звон сухого тростника
среди сыпучего песка.

Под дождь, как под душ для души,
плащмя и навзничь и ниц,
уйми эту дрожь, не дрожи,
не дрогни концами ресниц,
замри, не дыши, но в душе
протяжное что-то пропой,
и дождик по крыше уже
стеклянную нотной строкой,
звериной тропюю ночной,
замри, не дыши, пережди,
покудова тот проливной
до доньшка не пережит,
не прожит ни ливень, ни свет
внезапный в разрыв облаков,
ни вдоль луж след
дрожащих моих каблуков.

Наревешься, наплачешься вволю
на зеленой траве
и опять возвращайся в неволю
с глухотой в голове.

Наревешься, наплачешься, горьких
наглотаешься слез,
на крутых укатаешься горках
в лопухи под откос.

И опять возвращайся. Доколе ж
всё туда да туда ж?
Все ладони в колючки исколешь —
и востри карандаш.

Накарябай строку, нацарапай
на запястьи своем
да травинку кровинкой закапай
за рабочим столом.

Москворечье мое, Риверсайд,
да Сокольники, милый Версаль,
да еще два десятка есть
распрекрасных московских мест.

Ах, не сплю я и спать не ложусь,
в переулках ночных заблужусь,
да со мной проходной двор
до утра заведет разговор.

Сигаретку жги — говори,
переулки, дворы, пустыри,
да надгробье моих утрат,
распроклятый Новый Арбат.

Вот, назначай свиданья в декабре,
когда и губы зябнут по морозу,
но как же со стихов сойти на прозу
и тягу тела как преодолеть?

Холодные колонны обхожу,
простудные стоянки объезжаю,
проезжих и прохожих обижаю,
а места на земле не нахожу.

Подземным переходом поскорей,
но от себя не убежишь далёко,
спи, ласточка, осколком перелета,
ледышкой на асфальтовой скале.

Вот я больна, в жару, в поту малинном,
вот о тебе в бреде проговорюсь,
вот о желанном, вот о нелюбимом,
о милом и немиллом, провалюсь
в такую преисподню бессознания,
где только тело тяжким языком
ворочает, а бедное создание
душа сидит в темнице под замком.

И там-то, в глубине, во тьме, в теснине,
ты промаячишь, как мираж в пустыне,
и голос мой негромкий покричит,
поκληчет... Горяча к щеке подушка,
сплошному полдню громыхает пушка,
и горло глохнет, и в глазах горчит.

АНГЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ

стихи 1967 года



Если день — это день, то огонь
лишь огарочек оплывающий,
холодей, моя белая ладонь,
замерзай о потерянной варежке.

Если день — это ночь, то с тобой,
если это навек, то ненадолго,
угасай, огонек голубой,
мне сугроб на пути — это надолба.

И другу дорога за то, что
зарифмовала бедный мир,
что город, сношенный до дыр,
косыми строчками заштопан,

что ширь заснеженных полей,
как заячиими стежками,
моими редкими стишками
прошита. Милый, пожалей,

люби меня за так за просто,
не понимай и не цени,
на грудь припасть, пропасть в тени,
проснуться — крохотная горстка

во прах рассыпавшихся крыл
в трубу печную пролетает,
Снегурка тает, тает, тает...
... И тихо форточку прикрыл.

Есть музыка, а больше ни черта —
ни счастья, ни покоя и ни воли,
во всем остекленелом море боли
лишь музыка — спасенье, чур-чура.

Да, чур-чура, на час, на полтора,
когда ни завтра нету, ни вчера,
среди зимы про золотое лето
свистит лесною иволгою флейта.

Но краткому забвению конец,
смолкает человеческий птенец,
и снова в пустоту, в метель, во мглу,
всё босиком по битому стеклу.

Звезда с небес и сладостный сонет —
тебя уже ничто не обморочит,
и ты проговоришь «Покойной ночи»,
а молча прокричишь «Покоя нет».

Я знаю всех в лицо
в консерваторской своре,
но кто из них словцо,
кто письмецо мне с воли,

когда, как волк устав,
прильну к шершавым нарам,
на чьих тогда устах
я с нежностью и жаром,

и чье «привет, привет»
заслышу, замерзая?..
Большой, как люстра, свет,
а я — такая тьма я.

сонатный вечер

В. А.

Зеленое марево мая,
пробей в фортепьянах дыру,
Шестая, Седьмая, Восьмая
заходят ко мне в конуру.

Моя неизменная память
их вечно приводит втроем,
густое зеленое пламя,
как море в изгнаньи твоём.

Ах, марево майское в окна,
зеленою хмарою мокрой
дыми и глаза застилай.
Покудова рук не сломаю —
Шестая, Седьмая, Восьмая,
по крышке, по крышке стола.

Что навсегда? Что значит навсегда?
В часах античных капает вода,
в других пересыпается песок,
а мой будильник целится в висок

и пробудит — уж это навсегда —
от краткого раскрашенного сна
меня, тебя и каждого, мой друг,
для вечности, для новых, вечных мук.

б е л я е в о - б о г о р о д с к о е

Окраина, столица сквозняков,
где вой волков моей любви вторит,
где только снег в снегу тропинку торит,
где в дверь звонок длинён, как звон оков,
где звбнок смех, как щелканье подков,
а слезы горячи, легки и горьки,
а горечь их, как санки с белой горки,
скатилась и просохла на щеках...
Столица слез и снов на сквозняках.

Засмейся, несгораемая плоть,
захохочи, летя в костер купальский,
души моей сияющий оплот,
отрада этой полночи прекрасной.

А кружево безлунных облаков —
прекрасной этой полночи ограда,
и узелок заплаканных платков
повешен на ворота Цареграда.

Лети, лети, за облаки, за тень
волны морской, за отраженье тени
костра... Сестра, всё небо облететь!
Мои крыла, как листья, облетели.

Как вешняя лыжня,
вчерашним днем поранен,
вдоль долгого дождя
раскачивай фонарик.

И сам качайся вдоль
промокшего сугроба,
уверовав в любовь,
в любовь, любовь до гроба.

Опять собирается вещей Олег
продлить усеченный кудесником век,
себя от коня отрывая.
Но снова заплачет над черепом князь,
и выползет снова, шипя и смеясь,
змея между тем гробовая.

Так будь ты сторук и стоуст и столик,
а встретится лживый, безумный старик —
не спрашивай, право, не стоит.
Все косточки в горсточке Господа спят,
ковши круговые запенясь шипят
и шипу змеиному вторят.

Волхонка пахнет скошенной травой,
словно Ван-Гог прошелся по пригорку,
а граф Румянцев, скинув треуголку,
помахивает вверх по Моховой,

помахивает вострою косой,
покачивает острою косичкой,
но пропорхни по тротуару спичкой —
и полыхнет Волхонка полосой,

потянется от скверов и садов
чистейшая, душистейшая копоть,
и лопаться начнут, в ладоши хлопать
камни обоих Каменных мостов,

а мне, посредь пустынной мостовой
сгибая и распахивая локоть,
по Моховой, по мху сухому плакать,
поплачь, поплачь, как тетерев-косач,
скоси глаза, уставься в небеса,
не уставай, коси, не остывай,

сухою и горячею травой
пропахла кособокая Волхонка,
а город тих, как тихнет барахолка,
когда по ней проходит поставой.

И горы глухи, и долины дики,
туманный смутен мост,
и вбиты в небо белые гвоздики
рассветных звезд.

И на краю земли
в окне кружится занавеска,
как весточка о лете, как повестка
на сборы земляник.

И алы пятнышки на белой коже
моей щеки
просохнут на полуденной жаре.
И сумерки взойдут из-за горы,
белёсы и легки,
как вплывшие в туман грузовики.

Как церковка с высотною стекляшкой,
московской моды обалдельный крик,
мой светлый стих со мною, замарашкой,
неведомо откуда возник.

Мой бедный стих, искал бы ты иные,
не досмерти усталые уста,
и пусть мои останутся немые,
оставь меня, оставь меня, отстань.

Как падает затравленный олень,
сминая окровавленные травы,
так загнанный несется к ночи день,
слепой беглец в объятия расправы.

О времена, о нравы! И она,
среди смертей, среди пустых
бессмертий,
в безумьи забывая имена,
О Гамлете ли бредит, о Лазрте ль...

Но в слезах ты еще некрасивей,
улыбнись, улыбнись, улыбнись,
улыбнись, черт возьми, через силу,
а в душе хоть совсем захлебнись.

Улыбайся одна и с другими,
может, станет и впрямь веселей,
и свое неразменное имя
ни одною слезой не залей.

Проклятье! Счастье! Пишутся!
Слова, как горы, движутся,
а я, как мотылек,
летаю между строк.

Вчера ль еще, на подступах,
в неверьи и в тоске,
металась я, немотствуя,
как рыба на песке.

А нынче каждый ручеек
болтает, как щегол,
течет река, и речь ее —
как щёкот за щекой.

И в слабом женском горлышке
(Щегол! Кукушка! Скворушка!)
гуляет между строк
вселенной ветерок.

Милый, милый, удивленный,
вижу, вижу: над тобой
с деревянною трубой
ангел деревянный.

Он трубит, но глух и тих
голос дерева сухого,
и неслышно слуху слово
с пересохших губ твоих.

За стеной в застенке тонким
стоном вспыхнул трубный глас,
ангел вспыхнул и погас,
уголь в угол, да и только.

Сохнет, сохнет трубный глас,
сохнут слезы возле глаз.
Дождь по веточке зеленой,
ангел гаснет удивленный.

И жить не хочется, и чувствовать невмочь,
и нету сил страстям и сожаленьям,
и даже ночь щемящим наслажденьем
меня, свою безрадостную дочь,
не воротит и не привяжет к жизни.
Вчерашний день, прощай, и ты прощай,
день завтрашний... И в чьей еще отчизне
так мягко выстрел в отворот плаща...

Горстку снега протяни,
я ладонь тебе целую,
никому про эти дни,
и не плачу, не тоскую.

По сугробам снегири,
как теплы твои ресницы,
горстку снега подари,
по осиннику синицы.

По осеннему снежку
частокол короткой травки,
я сама себя сожгу
в горстке снега.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бесплатная
медицинская помощь

«Пока этот произвол не остановлен и не осужден, никто не может чувствовать себя в безопасности».

Из письма по поводу процесса Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой.

Это письмо, под которым стояло 170 подписей, я отправила 5 февраля Генеральному прокурору СССР, в Верховный суд РСФСР, а также Н. В. Подгорному, А. Н. Косыгину и Л. И. Брежневу. Обратным адресом на всех конвертах я поставила свой. Мой адрес был и в числе тех пяти, которые мы дали в конце письма как адреса для ответа, — там же был и адрес А. С. Вольпина.

Через день я заболела, а еще спустя несколько дней врач женской консультации предложила мне лечь в больницу. 12 февраля меня положили в родильный дом, в отделение патологии беременности, с диагнозом «беременность 25-26 недель, анемия, угрожающий выкидыш».

Из обеих больниц, в которых я провела следующие 12 дней, я писала своим друзьям записки. Они говорят как о ходе событий, так и о моем душевном состоянии в эти дни. Я приведу эти записки (полностью или в отрывках), добавив необходимые комментарии и дополнения. Записки были адресованы разным людям, иногда я писала их, не зная заранее, кто именно ко мне придет, и лишь для удобства переписки выбирая в адреса-

ты того или иного человека, — поэтому я сняла все обращения. Конечно, никто не мог подумать, что эти записки мне пригодятся, — первая из них потерялась. Поэтому вместо записки № 1 будет изложение того, как я почувствовала себя в больнице и как я пыталась выписаться (о чем я там, в основном, и писала).

Я почти не бывала в больницах. Единственный раз в жизни, в октябре 1959 года, в результате сильного переутомления (я тогда работала и училась) я пролежала две недели в психиатрической больнице имени Кащенко, и за эти две недели мне стало там настолько худо, что, выбравшись из больницы, я поклялась никогда больше туда не попадать. Надо сказать, что, несмотря на поставленный мне тогда диагноз «шизофрения», у меня за все последующие годы не было повода помыслить о подобном лечении (и, даст Бог, не будет), да и врачам не приходило в голову предлагать мне это.

И вот, так же как в 1959 году, я за две недели в больнице потеряла всякое душевное равновесие и нажила несвойственную мне бессонницу, сейчас в роддоме со мной начало происходить то же самое. Свет, разговоры — все мешало заснуть. Спать хочется — до боли в глазах. А уснуть не могу. Аппетит, который был плох почти всю эту беременность и только недавно наладился, пропал опять. Разговоры (в палате восемь человек) не только спать не дают, но и раздражают. Кто лежал в гинекологии, поймет меня, а остальные пусть представят круг тем и уровень этих разговоров. Рассказы о неправильных родах, о детях-уродах, детальное обсуждение истории 15-летней девочки, которая родила ребенка от своего отца (девочка — в соседней палате), — все это тяжело выслушивать, особенно когда собираешься рожать. А когда от акушерскогинеко-

логических тем переходят к сексуальным — вовсе уши вянут.

Да и вообще больничная обстановка: необходимость пребывать в обществе, которого я не выбирала, выслушивать все, что говорится, и подавлять ответные эмоции, невозможность иного общения с близкими людьми, кроме обмена записками, — действовала на меня угнетающе. Помню, я писала в записке, что не роддом такой плохой — роддом обыкновенный, а я, видимо, не гожусь ни для какой больницы. Другое дело — лежать после родов. Я уж не говорю о психологической разнице, но там и записку не успеваешь написать — успеешь выспаться между кормлениями. Там и разговоры иные, и все добрее друг к другу.

А здесь мне в первый же вечер стало очень плохо. Я засовывала голову под одеяло и плакала, стараясь, чтоб не было слышно. Это трудно, и один раз мне сказали: «Не плачь — давление повысится». Я не люблю выслушивать чужие советы и совсем не выношу, когда кто-то замечает мои слезы. И огрызнулась: «Разговаривали между собой — и дальше разговаривайте!» — «Подумаешь, какое остроумие», — растерянно отозвалась советчица. Но это был единственный случай за четыре дня, когда я вступила хоть в какой-то конфликт с женщинами в палате. Остальное время мои с ними отношения были ровные.

В общем, поплакала я, поплакала, а потом стала обдумывать спокойно: что мне делать и где будет лучше? Выходило, что лучше будет дома: что я могу взять отпуск, лежать, гулять (кстати, здесь гулять не выпускали, а из-за форточки шли вечные споры), пить лекарства, есть, спать, что все обо мне будут заботиться, носить продукты и т. д. Все это я изложила утром на обходе врачу, прося выпустить меня «под расписку».

«Ну, что ж, — сказала она, — по собственному желанию вас должны выписать, насильно держать не будут, но сегодня нет зав. отделением. Я передам врачу, который завтра будет делать обход, она поговорит с зав. отделением, и вас выпишут. Подождите до завтра».

Я расстроилась, но что делать — жду. Назавтра на обходе другой врач — ей, правда, ничего не передали, но, выслушав меня, она повторила точно то же: «Насильно вас здесь держать не станут» и обещала поговорить с зав. отделением. И пропала. Когда я, наконец, встретила ее в коридоре, она спокойно ответила: «А зав. отделением считает, что вас не надо выписывать». — «Но как же? — пытаюсь понять я. — Ведь и вчера и вы сегодня сказали мне, что выпишут, если я прошу. Дайте мне самой поговорить с зав. отделением». — «А она уже ушла. Подождите до завтра». Я разволновалась и тут же наткнулась на зав. послеродовым отделением, на этаже которого находилась наша палата (в патологии палат не хватало). Но я-то в этих завах не разбираюсь. Я спрашиваю: «Вы — зав. отделением?» — «Я». — Тогда я ей жалуясь, она говорит, что ничего не знает, что выяснит, и, видимо, в результате этого днем со мной беседовала зам. главного врача. Она — опять — просила меня подождать до завтра, но обещала, что, если я сама не передумаю, они меня выпишут. Поэтому я позвонила в один знакомый дом — попросить, чтобы назавтра мои друзья звонили и узнавали, выписывают ли меня, и если да, то приезжали бы за мной. Один из тех, кого я там застала, предложил прийти и поговорить с врачом — они уже получили мою первую записку и, зная меня, не сочли мое желание капризом, а, наоборот, были уверены, что мне надо помочь.

Начало следующей записки написано до этого телефонного разговора, конец — после.

Адресат записки — один из активных участников движения протестов против нарушений законности. Этим объясняется и мое беспокойство за него, и слова о «гражданском кресте». Кстати, беспокойство оказалось не совсем напрасным: из записки, полученной мною на следующий день, я узнала о том, что нескольких хорошо мне знакомых людей буквально в эти два-три дня вызывали в КГБ и что утром 14 февраля забрали и насильно увезли в психиатрическую больницу А. С. Вольпина.

ЗАПИСКА № 2

14/II, совсем вечером.

Меня сегодня совершенно оглушили, не выпустив. Оставили до завтра, уговаривают остаться на несколько дней хотя бы: «Не можем мы выпустить вас с таким гемоглобином». Я говорю: «Он здесь не повысится». Не знаю, читал ли ты мое длинное, в течение двух дней сочинявшееся письмо, — там я подробно объясняла, почему не хочу лежать в больнице.

Я, конечно, завтра буду добиваться выписки, но, несмотря на то, что я два дня слышу от врачей фразу:» «Ну, насильно вас здесь держать не станут», — я им все меньше верю. Могут и насильно. Или они считают «насильно», если я буду физически убегать, а они меня физически ловить?

Главное, от всего этого я теряю сон и желание есть. Сегодня не обедала, не ужинала, и только недавно, дви-

жимая разумными побуждениями, поела кой-чего из принесенного мне. И все стоит поперек горла.

Ну, чего они меня здесь держат? Живот не болит, от анемии не лечат. Даже если бы начали, от анемии мало одних лекарств — важно, какая еда, а далеко не все возможно принести. И, главное, нервы: ни тишины, ни покоя, ни занятости ума. Выслушиваю разговоры, кому чего и в какую цену свекровь подарила. Или переживания 21-летней слоники в первую брачную ночь (и в последующие). Или про то, как в магазинах обманывают. И так далее.

Это не презрение к народу. Это не народ. И моего христианства хватает лишь на то, чтобы терпеливо молчать.

Да, ничего у меня не может прийти в решительный порядок, покудова я без креста и без моего спасительного образка. Тем более, надо выходить, чтобы скорее залучить их обратно. Одно утешение: нянечка и сестра, принимавшие вещи, очень умилялись («Умница какая», — сказала нянечка; их, видимо, особенно трогает, что вот, мол, молодая, образованная, а поди ж ты, от веры не отступает) и, когда я сказала: «Лишь бы это не пропало», ответили: «Что вы, разве такие вещи пропадают!» Утешение не в том смысле, что не пропадут, а в более важном.

А ты, значит, решительно оставил мысли о кресте? Или, возложив на себя крест гражданский, счел это достаточным для Спасения? Дело твое. Я слишком высоко (выше всех свобод) ставлю свободу совести. Так что и сожалеть о твоём безхристианстве не буду активно. (Я написала сознательно с ошибкой «беЗхристианство», так как иначе получается нечто ужасное и, кстати, явно существующее, но к тебе не имеющее отношения).

Да, так почему же при царе стенограммы важнейших политических процессов печатались?¹⁾

15/II, утром.

Вчера, после телефонного разговора, я успокоилась: не только потому, что надежда на твой разговор с врачом усилила надежду на выписку (легко им обманывать меня одну, когда за мной — никаких заступников), и даже не только потому, что я почувствовала себя не брошенной, а, наоборот, утопающей во всеобщей заботе.

Главное-то вот что. Ты в первый день собирался приехать и не приехал. Вчера приехала А. и ни слова про тебя не сказала. «Ну вот, — думаю я, — так оно и вышло: я в больнице, а там в это время...» И тогда я стала писать это письмо так, будто и нет у меня этой мысли, — будто невысказыванием ее я тебя из этой вероятности выколдовываю. И когда я позвонила — тем более, что звонила я из ординаторской и мне велели разговаривать быстро, — я не стала о тебе и спрашивать (вдруг им, бедным, придется врать), и тут, только я собралась развернуть свою поспешную речь, как мне позвали тебя. Ох, как мне сразу же полегчало. И потом я, после разговора, подошла, так славно разговаривала с пожилой сестрой, говорю: «Ведь я поела, через силу, а поела» (а она приходила, уговаривала меня поесть, и я обещала, только после ужина, как и сделала). Потом

¹⁾ Эта фраза — результат чтения книги «Государственные преступления в России в XIX веке. (Сборник извлеченных из официальных изданий правительственных сообщений). Том I. (1825-1876 гг.)», СПб., 1906. Этот сборник, составленный Б. Базилевским (В. Богучарским), включает большое число подробных отчетов о политических процессах.

она спросила, как я сплю, и дала мне бром с валерьянкой, и то ли от брома, то ли от валерьянки, то ли от внутреннего покоя (надолго ли его хватит? — ведь опять меня обманут, и всё) спала ночь хорошо, и снился мне один из лучших снов, какой может быть, — потому что это одна из моих лучших явей: как будто я еду на попутных из Тарту в Ленинград, но еще по Эстонии, подъезжаю к городу Мустве, а там, справа от меня, прекрасное Чудское озеро. Сколько я ездила, а ничто не помнится нежнее, чем путь вдоль Чудского озера. Там рыбацкие деревни с милыми эстонскими именами: Ая, Рая... В одной из них кладбище, красивое, сосновое, с железными могилами лютеранское кладбище, а не доходя до него, у каких-то ворот меня собака облаяла. Это не во сне, это в 1964 году, когда я первый раз путешествовала в сторону Тарту. Это было в октябре, когда после сумасшедших дождей и холодов настала уже неожиданная золотая осень. Перед тем я прожила три дня в Тарусе, совершенно безумея — днем от золотой осени, вечером от «Пепла и алмаза»*) (я тогда еще плохо читала, но прочла толстую, страниц 400, книгу за три вечера и, возвращаясь в Москву, ловила себя на том, что думаю по-польски).

А дорога до Тарусы — одна из худших. До Серпухова дорога скучная, да быстро проходит: шоссе людное, много машин. А за Серпуховым — час, два, три можно идти, и машины нет, а кругом пусто и голо. И, главное, видишь вперед, какие крюки и завороты делает дорога, и хочется спрятать по целине, да только это и быстрее не будет, и машину можно прозевать. Впрочем, дорогу всю, по заворотам, видно и назад, и видно, что машин нет, — не то что на обычном шоссе,

*) Книга польского писателя Е. Анджеевского. — Ред.

где каждую минуту можно ждать, что сначала тихо заворчит мотор, а там и грузовик долгожданный выкатит.

До последнего года попутные были почти самой большой радостью в моей жизни. А теперь мне ждать, пока мой маленький детеныш будет настолько большой что поедет с яслями или детским садом на дачу, а я тогда — уже с Ясиком, ему будет 9 или 10 лет — отправлюсь по своим старым маршрутам.

Ну, ладно, хватит этих попутных эмоций.

Да, если ты придешь разговаривать с врачом, то лучше даже не с лечащим, а с зав. отделением патологии (но это неважно — лечащий все равно тебя к ней переправит), а вообще сегодня мой вопрос должен решать главный врач.

С зам. главного врача мы вчера вроде бы по-человечески поговорили. Она, видимо, связалась с консультацией и узнала о моей «шизофрении». Так что я ей и про шизофрению объяснила, и про то, почему я надумала второго ребенка, и почему я не боюсь, что мои дети будут психопатами, и не боюсь, что у меня самой в результате беременности наступит обострение. Объяснила, как хорошо я живу и буду жить одна и какие у меня роскошные возможности прокормить детей переводами.

(Конец записки.)

Следующая записка была написана после того, как мой товарищ поговорил с врачом. Сначала с ним говорили неопределенно, но потом точно обещали, что завтра выпишут. Я получила от него записку о том, что он уходит, что приедет завтра в 11 часов утра и просит (на случай, если вдруг снова не станут выписывать) написать все мои аргументы. Его записка пришла, и я уже не успела переправить ему то, что написала

(записка № 3). Записка № 4 — ответ на просьбу о подробном изложении сути дела. Записка № 5 — продолжение событий.

ЗАПИСКА № 3

Я пропала с горизонта, потому что у нас обход (может быть, с этим-то врачом ты и говорил?). Дело не в том, что я думаю, что у меня все в порядке, — конечно, не в порядке, но в порядок привести можно только дома, а здесь каждый день меня губит. Они сегодня скажут: «У вас вчера взяли анализ, он будет готов только завтра, так что до завтра». После каждого «до завтра» я падаю, как сноп. Если мне сегодня скажут «до завтра», я уже не поверю и не успокоюсь.

А вопрос о выписке еще не решен — не уходи, ради Бога. Мне совестно, что ты из-за меня столько здесь торчишь, но уж что поделаться, потерпи еще.

Да, если тебе уже точно скажут, что не выпишут, попроси разрешения поговорить с главврачом и попробуй все-таки нажать.

15/II, днем.

Ну, вот, видишь, ты ушел. Я только что изготовила записку с просьбой, чтоб ты не уходил, а ты ушел. Наверно, тебе сказали, что меня сегодня не выпишут, а мне потом скажут: «Мы бы вас выписали, да вас не дождались, а одну мы отпустить не можем».

Ну, хорошо, на случай, если и сегодня не выпишут и завтра опять будут манежиться, вот тебе суть дела, чтобы ты мог с ними разговаривать.

1. Анемия. Гемоглобин 54⁰/₀

В консультации мне выписали гемостимулин, ко-

торый я забыла взять, и настойку яблочнокислого железа, которую я брать не стала, чтобы не разлить дорогого. К тому же, я была уверена, что мне здесь всех лекарств дадут вволю (и до сих пор рада, что хотя бы самые простые вещи — поливитамины и глюконат кальция — захватила с собой). Кроме пресловутой бром-валерьяны, мне пока ничего не выписывают.

Кроме того, мне сказали есть: яблоки, которые я могу есть и здесь, и пить яблочный сок; морковь, которую следует тереть и выжимать, чего никто здесь делать не станет; печенку чуть поджаренную, полусырую — здесь печенки вовсе нет; капусту сырую и квашеную — ну, квашеной еще можно принести, а сырую же я не стану просто обгрызать с кочана, дома я ее готовлю с луком (который тоже нужен), с майонезом, и дома это приготовить очень легко, а здесь невозможно.

Потом здесь, вообще, мало еды и, в частности, мяса, которое при анемии необходимо. Здесь же, в основном, женщины на последних месяцах, с отеками или повышенным давлением, которым надо сбрасывать вес, а гемоглобин у них у всех и так по 70 с лишним, так что меню не рассчитано и не может быть рассчитано на мою анемию.

2. Угрожающий выкидыш.

Еще во время суда, в те дни, когда я подолгу ходила, у меня изредка побаливал живот. Потом вроде ничего.

Знаешь, сейчас пришла кастелянша(?), спрашивала: «Вещи ваши у нас? Пальто у вас какое? Мне надо подготовить, а то вас к выписке готовят». Я спрашиваю: «Сегодня или завтра?» Она не знает, но я все равно утешилась. Но я продолжу свою историю болезни, даже если она тебе завтра не понадобится.

В начале прошлой недели пару дней подряд (после зарплаты) я бродила по магазинам, искала всякие мелочи. Вечер — по «Детскому миру», вечер — по Ленинскому проспекту. Я уставала очень, да еще было скользко, и я все время чувствовала, как все в животе сжимается и давит вниз. Но я думала, так и надо. И потом, как раз на третий день, в среду, я пошла к врачу и получила оба диагноза. Но о больнице она и слова не сказала. Велела все время лежать, а два-три часа гулять. Я гуляла, после долгого гулянья живот побаливал, но ведь можно и не ходить, как я, а сидеть на скамейке. Витамин Е, единственное лекарство от угрожающего выкидыша, мне достали только накануне того дня, когда меня вздумали госпитализировать. Здесь мне его два дня по разу кололи, а теперь дают пить, потому что в ампулах больше нет. А у меня дома — как раз в ампулах (а инъекции полезнее, чем просто пить).

Так что даже в смысле чистого лечения мне дома будет лучше, не говоря уже о нервах.

Свет, правда, все-таки на ночь гасят, но довольно поздно, и дома я сплю гораздо больше. Во-первых, сон мне очень нужен. Во-вторых, когда я не сплю, я трачу миллион усилий на то, чтобы отключиться от глупых разговоров, от жалких анекдотов, от страшных медицинских историй. Ведь и когда я сейчас сосредоточенно пишу, я почти все слышу. А чтение и вовсе не заглушает их. Да и устаешь только читать, писать, глаза устают. Дома я, даже не включая свет, кручу свою «Спидолу» — успокоительнейшее занятие. Послушаю, послушаю, глаза слипаются, в полусне выключу, сплю. Ни минуты напряжения, опасного и для моих нервов, и для бедного моего детеныша.

А торчать здесь в коридоре у окошка в ожидании, не придет ли кто, — это полезно? Дома-то у меня те-

лефон около постели: позвоню — кого хочу, позову, с кем хочу, поболтаю, чего хочу, попрошу.

Все остальное о нервах — как я плачу и как я есть не хочу — я уже писала. Дома-то я лежу — как проснусь, тут же и поем.

ЗАПИСКА № 5

15/II, еще позже, в ужасе.

Мне сказали совсем страшную вещь, причем лечащий врач, которая это сказала, даже не поняла всей ужасности. Она заходила по другим делам, и диалог был таков:

— А как со мной? Чем кончилось?

— Вы знаете, главврач еще не ушел, и, по-видимому, вас выпишут или переведут в другую больницу. Я даже карты вашей не видела — карта у главврача.

В ДРУГУЮ БОЛЬНИЦУ

Ты понимаешь, что это значит?

А консультативный осмотр был не осмотр, а разговор — я потом только догадалась, что с психиатром,²⁾

²⁾ Как потом оказалось, это был дежурный психиатр Тимирязевского района. В довольно коротком разговоре он спрашивал не столько о моем состоянии, сколько о том, когда я лежала в больнице, в каком психодиспансере я состою на учете, одна ли я живу или с родителями и т. п. Относительно же моего состояния он спросил, в частности, почему я накануне «отказывалась от пищи». Я сказала, что я просто расстроилась и не хотела есть, но *потом поела*. Об этом же я говорила и вечером сестре, и в это утро заведующей отделением.

очень неприятным мужиком белесо-безликого гбешного типа.

Теперь я вижу, что они, не исключено, задумали запихнуть меня туда же, куда Алика.³⁾ При всех событиях этих дней это было бы слишком странным совпадением. Во всяком случае, если теперь ко мне придут и скажут, что меня выписывают *сегодня*, я не уйду, прежде чем не дозвонюсь, чтоб меня кто-то встретил. Если завтра, то уже ты придешь и им не удастся меня куда-то сплавить, да и вообще, наверно, если они назначат выписку на завтра, то это без обмана. Если же они прямо заявят мне, что переводят, я откажусь — пусть тащат силой. Господи, как я нервничаю. Главное: и эта моя записка может не дойти, и никто не будет знать, где я. Господи, пронеси!

Мое писание было прервано ужином, а потом — то ли от сытости, то ли от невозможности вполне поверить в такую нелепицу — я вдруг преисполнилась хладнокровия и вместе со всеми смеюсь над одной дурой, которая устраивала долгие перекрики в окошко, получила за это тьму выговоров ото всех, а теперь кричит мужу: «Кричать нельзя!» И затем еще долго переговаривается с ним с тою же громкостью — ничто ее, видимо, не проняло. Это та самая, 21 года, 90 килограммов веса.

Нет, действительно, вряд ли они применят ко мне обман или силу. Уже седьмой час, а никто мне ничего не объявляет, а завтра ты придешь в 11, и тогда мне ничего не страшно. Я не буду сегодня звонить: во-первых, неизвестно, застану ли я кого-нибудь; во-вторых, у меня ничего определенного; в-третьих, очень трудно выпрашивать позволения позвонить.

(Конец записки.)

³⁾ Имеется в виду А. С. Вольпин.

На следующий день, 16 февраля, двое моих друзей приехали в роддом с уверенностью, что сейчас отвезут меня домой. Среди назначенных к выписке моей фамилии не было. Но и в роддоме, сказали им, — такой нет. Не значит. Никто не хотел с ними разговаривать, никто ничего не объяснял. Все отводили глаза. Наконец, они добились разговора с зам. главного врача, которая и сообщила им, что меня накануне вечером перевезли в психиатрическую больницу имени Кащенко.

— Почему?!

— Ну, знаете, она себя несколько странно вела.

С большим трудом удалось добиться разъяснений — что значит «несколько странное» поведение. «Она просила о выписке и отказывалась от пищи». На таком основании консилиум с участием главного врача (которая меня вообще не видела) и дежурного психиатра постановил перевести меня с диагнозами, из-за которых они не хотели отпустить меня лечиться дома, — перевести в психиатрическую больницу, где не могло быть обеспечено необходимое лечение. А зам. главного врача мимолетно и спокойно бросила такую фразу: «Там разберутся — может быть, вообще придется делать прерывание...»

В тот же день в роддом приехала моя мать и тоже узнала о моем «перевосе».

Я сама предприняла попытку известить о происшедшем. Женщине, которая утром выписывалась из Кащенко, я дала несколько номеров телефонов и попросила дозвониться по любому из них и сказать, где я.

В этот день я написала две записки — вторую после того, как у меня побывала мама и целая куча друзей. Мы разговаривали через закрытую дверь: я в ко-

ридоре, а они на лестнице, но слышно хорошо. Я отдала им все предыдущие записки (те, что не успела передать из роддома, и ту, что написала утром).

ЗАПИСКА № 6

16/II.

Я даже не знаю, придет ли кто-нибудь, но пишу все-таки, решила заранее написать. Нигде меня к телефону не подпустили — даже матери позвонить. Позвали вчера вечером в смотровую — «дежурный врач хочет вас посмотреть». А там — два дюжих санитаря с видом лагерных надзирателей по призванию. Я не буду сейчас ничего писать подробно — от одних воспоминаний уже реву.

Отсюда меня, наверно, может вытащить только мать. Но мне не дают ей позвонить — в приемном покое обещали, что сами позвонят, но я уже никому не верю. Если она так и не появится, то к ней надо послать кого-нибудь из девочек.

У меня здесь отобрали даже поливитамины и глюконат. Я боюсь, что они будут насильно впихивать в меня какие-нибудь лекарства, а тогда моему детенышу придется совсем худо.

Меня надо вытаскивать срочно, потому что я верю в возможность любого изуверства.

Я отправлю все, что успела там написать, — из записок видно, как я ждала этого и не ждала.

Шариковых и вообще ручек держать не велят. Карандаш у меня чужой.

Ну вот, поговорила я с врачом. Она просила, чтобы мама пришла завтра (или послезавтра, в воскресенье), а решить вопрос о выписке, хоть и под распис-

ку, можно только в понедельник, когда будет старший врач. Если нет ничьей «руки» и нет исходной точки, с которой началось мое нынешнее хождение по больницам, то все, может быть, будет в порядке. Но так как я уверена в наличии «руки», причем такой, которой надо не просто убрать меня, а именно в сумасшедший дом, то они найдут отговорку и не выпустят меня.

Большой шум пока поднимать не стоит, но если бы прийти кому-то из вас и тоже поговорить с врачом, имело бы смысл.

А может, под наружностью нормальных разговоров — подводное течение каких-нибудь страшных, злых намерений? Так ведь было вчера, там.

Я здесь менее защищена, чем одна на Сивцевом Вражке.

Я здесь вправду сойду с ума.

ЗАПИСКА № 7

16/II, вечером.

Какое зрелище! Здесь есть комната отдыха: телевизор и радиола. И вот я заглянула туда — может, телевизором отвлекусь. Телевизор еще не включен, а под радиолу, под какое-то послевоенное танго движутся две пары. Бедные женщины, несчастные, в жутких халатах, шерочка с машерочкой, томно бедрами поводят. Господи Боже, какие малые радости людям достаются.

Как это ни дико, но я здесь морально оправилась. Там меня каждый день мучили этими «до завтра», а здесь сразу сказали «не раньше понедельника», и это показалось мне реальной. Ведь с психическим лечением дело как обстоит? Будь я даже действительно больна

сейчас, мне нельзя пить никаких лекарств, то есть все равно нельзя лечиться. И вообще под расписку родным они обязаны отдавать — тем более, когда и лечить-то нельзя. Ну, все это вилами по воде писано.

Я поняла, насколько важен завтрашний разговор с врачом. Ведь мое намерение родить — для большинства врачей — тоже чуть ли не симптом шизофрении. Одна! Сама! Второго! Как можно?! Да как вы справитесь? Другие себе и в лучших условиях не могут этого позволить! И тому подобное. К счастью, я сегодня не чересчур нажимала на то, что одна. То есть, конечно, сказала, что одна и что справлюсь, но, спрошенная, случайно ли решение об именно этом ребенке, с важным видом сказала, что нет, не случайно, очень серьезно, но что больше я не хотела бы об этом говорить. И вот в это последнее можно включить все, что угодно: скажем, что до сих пор это вопрос не вполне решенный, но что я всегда имела и буду иметь «моральную и материальную поддержку».

Живот мой вроде бы окреп. Может, мне и не понадобится брать отпуск. Не дадут больничный — пойду работать. Я думаю, что меня уже не посмеют терзать дисциплинарными строгостями.

Я что-то разболталась, а надо бы — по мере приближения ночи — вострить уши. А то — при диагнозе «угрожающий выкидыш» — утащат, выскоблят, а потом скажут, что выкидыш сам начался. И ничего не докажешь: «псих-шизофреник». Вдруг меня для этого сюда заманили?

Ведь вчера я тоже была к вечеру спокойна и весела, а во сколько слез мне это обошлось. Но это еще только слезы, а что может быть? Только врачам этого говорить нельзя, а то они скажут, что у меня навязчивые страхи, мания преследования (и про ГБ потому же

нельзя, даже если они сами отлично все знают). А мне здесь только до понедельника, еще три ночи.

Да, но если это затеяло ГБ, то ничего не выйдет? Алика же не могут вытащить. Правда, он не беременный.

Когда выйду, наверно и вправду наконец начну ругаться матом.

17/II, утром.

А знаете, почему они так легко решились переволочь меня сюда? Когда я там говорила с психиатром, с тем странным и подозрительно не похожим на врача, он меня спрашивал, с кем я живу, и я сказала, что одна, отдельно от мамы. Может, будь я прописана отдельно, мама и не имела бы права меня отсюда забрать. Они, видно, решили, что я одна, что никто за меня не вступится и что можно упечь меня безнаказанно и держать тут сколько угодно.

(Конец записки.)

17 февраля лечащий врач сказала моей маме и друзьям, что я в лечении не нуждаюсь и что не позже четверга меня выпишут. И так, «не раньше понедельника, не позже четверга», выписали меня все-таки в пятницу, 23 февраля, но зато не под расписку родных, а обычным порядком, то есть практически признав ошибочность моего направления сюда. Насколько я понимаю, выписка затянулась на неделю ради перестраховки: врачи дожидались такого момента, когда их будет как можно больше — и старший врач, и зав. отделением, и мой лечащий врач, и еще один из этого же отделения. Они изучали мою историю болезни 1959 года, разговаривали со мной и с удивлением спрашивали: «Так почему же вас к нам прислали?»

— Я сама хотела бы это узнать.

Но тут они умолкали.

Не шла речь и ни о каком прерывании беременности.

— Что вы, — сказали моим друзьям. — Это делается в самых редких и крайних случаях: если заболевание протекает в буйной форме, а лечение таково, что все равно повредит ребенку.

Я была спокойна эти дни. Я вся внутренне собрала, чтобы и ребенку не повредить, и себя не потерять, надрывая душу и болезненно нервничая. Когда я думала о том, что меня могут не выписать, продержат еще недели или месяцы, я с неожиданной выдержкой сама себе отвечала: «Ну а в тюрьмах — рожают? Ничего? И без свиданий, без передач, без яблок и апельсинов». Так что, если бы меня не выпустили, то есть открыто объявили мне войну, я вышла бы из нее с честью и с победой. К счастью, воевать не пришлось.

Записок я больше не писала: я разговаривала со всеми через дверь, а в воскресенье было двухчасовое свидание. Но по-прежнему не находя сил подробно рассказать о том, как меня перевозили, и боясь, что я все позабуду, кроме ощущения ужаса, а потом никому не смогу растолковать, чем же это было так ужасно, я в субботу вечером и в воскресенье утром написала последнюю записку.

ЗАПИСКА № 8

17/II.

То, о чем я не писала, а только коротко рассказывала. (Спешу записать, пока все помню).

В тот вечер — это было в четверг, 15 февраля, — я уже совсем успокоилась. Только потом я вспомнила,

как отводили глаза на мои вопросы и врач, и сестра, и кастелянша.

Часов около девяти (я не знаю точно, так как все часы в коридоре стоят) пришла нянечка и сказала, что меня зовут в смотровую, «дежурный врач хочет вас посмотреть». И я, все еще спокойно, ничего не предчувствуя, вошла с ней в лифт и спустилась на первый этаж. И через смотровую меня сразу позвали в приемную — в дверях ее я остановилась. Там было несколько сестер и нянечек, дежурный врач, узел с моими вещами и два достаточно зверского вида человека, которые, как видно, ожидали меня. И кто они — я в первый момент не поняла. Дежурный врач сказала мне: «Одевайтесь» и заявила, что мое лечение решено продолжать в другой больнице. «Поедете в Боткинскую больницу». Я сказала: «Я не поеду» и пошла обратно к лифту, понимая бессмысленность этого, но в общей бессмысленности всего происходящего решив, по крайней мере, не сдаваться сколько можно. Более жуткий из пары санитаров (я уж поняла, что это были санитары — эти два мужика, выделявшиеся своими пальто и шапками на фоне столпившихся белых халатов) сделал вслед мне несколько шагов, завернул мне руки за спину — я повернула обратно. Сопrotивляться всерьез? Конечно, была бы прекрасная сцена: маленькую, больную, беременную женщину скручивают два санитарных бугая. Но я боялась и за ребенка, и за то, что на основе этого сопротивления меня засунут в какое-нибудь страшное буйное отделение (что меня везут не в Боткинскую, я была уверена).

Поэтому все дальнейшее сопротивление было чисто словесным.

- Раздевайтесь.
- Не буду.

— Раздевайтесь.

— Я никуда не поеду.

— Раздевайтесь.

— Я должна позвонить, известить моих родных.

— Оденетесь, тогда позвоните.

Дежурный врач в негодовании кричит:

— Вы что, хотите, чтоб вас силой раздевали? Сейчас вас мужчины разденут!

Сестры и нянечки молчат и взирают с ужасом, особенно та, что привезла меня с четвертого этажа. Когда я в какой-то момент (кажется, почти в начале разговора) сказала врачу:

— Меня здесь со дня на день обманывали, обещали выписать, и сейчас обманом зазвали, будто бы врач хочет меня посмотреть, — нянечка горестно сказала:

— Я же тоже не знала.

— Я понимаю, — сказала я ей. И потом, когда уж я совсем уходила, у нее было лицо человека, про которого говорят: «сердце разрывается». Я попыталась улыбнуться ей утешающе, но боюсь, что вышло несколько жалобно.

В конце концов, я перешла в смотровую, и все стали помогать мне одеться (не врач, конечно).

Да, вот еще что, по-видимому, заставляло этих простых женщин быть на моей стороне. Еще пока я была в приемной, там передавали «ценности», которые находились на хранении: часы, деньги и — главное для меня — образок и крестик. Образок Черниговской Божьей Матери и мой крестильный крест. И вот это попало в лапы санитаря, в толстую лапу с толстыми и, как мне казалось, сальными пальцами. Я все дни тосковала без образка и креста, чувствовала свою без них незащищенность и до сих пор считаю, что, будь они при мне, они бы меня уберегли. Я резко протянула через

стол руку схватить их, но он отодвинул свою лапу, а когда я крикнула что-то вроде: «Как вы смеете это брать своими руками!», он, увидев, насколько мне это больно, с довольной усмешечкой стал перекачивать и мять образок и крест в своих пальцах, приговаривая: «А нам это все равно, мы неверующие...»

Я пишу все это сейчас довольно хладнокровно: во-первых, если я сейчас начну реветь, я ничего не смогу написать (как не могла я писать вчера); во-вторых, у меня все равно нет достаточных слов, чтобы передать то, что я испытывала. Помню, что я много раз повторяла: «Это обман и насилие». И дежурному врачу сказала: «Вы участвуете в обмане и насилии». Ее-то это не проняло. Высокая, довольно красивая, молодая (примерно моя ровесница), она явно считала меня, маленькую, всклокоченную, близорукую, в нелепом больничном халате и шлепанцах, существом низшего разряда. Тут не только физическое неравенство, но и столь частый у наших врачей взгляд, что больной целиком в их власти и что с ним надо обращаться, как с несмышленым младенцем, не признавая за ним ни ума, ни собственной воли. Раньше я думала, что этот взгляд распространен только среди психиатров, — оказалось, что нет. Словом, только попади им в руки. (Впрочем, я должна оговориться, что и среди психиатров я встречала людей гуманных, лишенных жажды властвовать и страсти подавлять).

Кажется, на протяжении всей этой долгой, очень долгой, гораздо более долгой, чем выглядит в рассказе, сцены я не заплакала. Когда я стала раздеваться-одеваться, кто-то из женщин сказал: — Вся дрожит.

У меня, действительно, от волнения дрожали и не слушались руки. Мне помогли, застегнули длинный ряд

пуговиц, а мне главное было не то, что помогают одеться, а что кто-то меня жалеет — не весь мир озверел.

Одеваясь, я говорю врачу:

— Вы же знаете, что меня не в Боткинскую везут.

— Ну, если вы сами это понимаете, так тем более. (Тем более — не сопротивляйся, не высказывайся, иди, куда гонят, — договаривает ее презрительное молчание).

Конечно, мне не дали позвонить и тогда, когда я оделась («Некогда! Машина ждет! Приедем — позвоните. Я в а м о б е щ а ю»). Это тот, главный, что пострашней, — весь круглый, огромный, кругломордый. Я все пыталась определить его по типу и в первой записке отсюда определила как «лагерного надзирателя по званию». Но, видимо, меня это не удовлетворило, потому что я продолжала об этом думать. Это, наверно, вот что: он похож на тех блатарей, которых ставили в лагерях командовать над политическими. Внешне преступный тип с большими садистскими наклонностями. Он мог быть и чином в КГБ, и любым начальником везде, где есть возможность поизмываться над человеческими душами и телами. Своей работой открыто наслаждается.

Второй — просто рядовой бандит. С ним мы «беседовали» уже в машине. Первый сидел с шофером, за стеклянной перегородкой, а этот приставал ко мне с такими примерно разговорами:

— Это вы что, в Бога веруете?

— А я с вами на эту тему говорить не собираюсь.

— Ну как же так, — с ухмылочкой в голосе, — объяснили бы. Ведь удивительно: культурный человек, с высшим образованием — и в Бога верует.

— А мне вот удивительно, когда не веруют.

Причем я, конечно, зло огрызаюсь, а он выглядит таким любознательным товарищем.

Или (уже позже и в ином тоне):

— Муж-то у тебя есть?

— Не ваше дело.

— Муж, говорю, у тебя есть?

Молчу. Он все допытывается.

По дороге заехали в Старопетровский проезд, забрали (с постели уже) маленькую, жалкую, несчастную старушечку — ей тоже сказали, что в Боткинскую. Она все жаловалась на соседей — наверно, они ее и пристроили в психиатрическую.

Я в машине (темно ведь) всю дорогу ревела (беззвучно), повернувшись к окну, вцепясь в стальные прутья и время от времени протирая потеющее окно и заливаемые слезами очки. Когда мы стали подъезжать к Боткинской, я все-таки забеспокоилась, и только когда мы проехали прямо по Ленинградскому проспекту, не сворачивая в сторону больницы, я сквозь потоки слез злорадо улыбнулась: «Думали меня провести! Что уж, я не знаю, где Боткинская, а где Кащенко?!» А потом я ехала мимо домов или улиц, где живут мои друзья, и при мысли о каждом новый ливень растекался по моим щекам. А потом с Садового кольца поворот на Люсиновскую, повороты, развороты, Загородное шоссе, Кащенко.

(На сегодня хватит. Я пишу лежа, простым карандашом, да и душою устала все это вспоминать).

Нет, все-таки еще забытая деталь. Когда санитары ушли за старушкой, я обследовала обе двери в машине, боковую и заднюю. Если бы была возможность одну из них открыть, я бы убежала. И шофер не догнал бы меня! Но из этой машины не сбежишь. Я не нашла даже щели, чтобы выбросить наружу записку.

18/II.

Спешу закончить, пока вы не пришли.

Еще одна деталь, упущенная вчера, а прежде я о ней все время помнила — и когда начинала вчера писать, помнила.

В машине, на какое-то очередное приставанье санитаря (второго, «рядового бандита») я сказала:

— О том, что со мной сделали, будет знать весь мир.

— Весь мир! — захохотал он издевательски — Да кому вы нужны?!

Ладно. Итак, мы приехали, вышли из машины. На крыльце какой-то уж вовсе debil (но не больной-debil, а debil-санитар) сказал:

— Заходи сюда!

Как это бывает со мной в подобных случаях, я вскипела и потребовала, чтобы ко мне обращались на «вы»:

— Не заходи, а заходите, — и осталась на месте.

Как они развеселились! «А мы невоспитанные, непривычные, а нам переучиваться поздно!» И тому подобное.

В машине нас было трое: кроме меня и несчастной старушечки, девица, которая ехала еще прежде меня и с которой у меня в отсутствие санитаров произошел примерно такой диалог:

— Куда идет эта машина?

— А вам куда надо?

— А мне никуда не надо, меня силой везут, а вы, я вижу, сами едете.

— Меня тоже везут, но я сама согласилась ехать в больницу.

В ее тоне было и болезненное самолюбие (больницу она мне так и не назвала), и сознание превосходства

над моими слезами, сопротивлением, обшариванием дверей машины: она сознательная, она сама едет, а тут человеку добра желают — и такая неблагодарность и неразумие.

И потом, в дороге, уже на подъездах к больнице, санитар грозился, что меня за мое поведение посадят в «плохое» отделение, а вот девушку — в хорошее.

— Все они одинаковы, — сказала я зло.

— Нет, почему же, — возразила девушка, — вот тридцать третье хорошее, у... (она назвала имя, отчество и фамилию врача, которые я запомнила неточно и поэтому не буду называть).

— Вот, — радостно подхватил санитар, — вот мы вас туда и положим, а ее (то есть меня) — в буйное.

Мы сидим в приемной, и плачет старушка, которая, наконец, узнала, куда ее привезли.

— Ах, бабушка, — говорю я, — обеих нас обманули, только я с самого начала знала, что меня обманывают, а вы и не знали.

И вот я разговариваю с врачом, и объясняю, что со мной, и требую, чтобы мне дали позвонить, — как об стенку горох.

Рездеваюсь, моюсь, одеваюсь, в это время разбирают мою сумку, я без очков (очки мне отдали только в отделении), не могу понять, что они оставляют мне, что сдают на хранение. Потом оказалось, что отобрали даже поливитамины и глюконат кальция.

Больничная одежда! Еще один способ унижения и подавления. Штаны («трико») до колен, чулки без резинок, спускаются, дыры на чулках не заштопаны, а защиты через край, отчего чулки уменьшаются и становятся разными. Халаты вообще невозможные. И — ни в коем случае — ничего своего. Или они боятся, что кто-то здесь будет модничать? И вот все ходят одина-

ково страшные, потерявшие человеческий и, прежде всего, женский облик. Нужны большие усилия, чтобы иногда разглядеть торчащие из чучельной одежды милые, приятные женские головки.

Я оделась и попыталась вернуться к врачу — к телефону. Дебил схватил меня за локти и вытолкнул обратно. Я подняла крик («Как вы смеете до меня дотрагиваться, выталкивать меня!»). К телефону, конечно, не подпустили, но отводить меня в отделение вместо дебила послали молодого мальчика, который был вежлив и обращался на «вы».

По дороге я стала отставать и сказала, что не могу идти быстрее.

— Почему?

Во-первых, мне ботинки размеров на пять велики, во-вторых, я беременна.

— Ну, не спешите, — и пошел помедленней.

В-третьих, было скользко, в-четвертых, я несла тяжелую сумку (банки с соками и с компотами, перекочевавшие со мной), но об этом я постеснялась говорить. Не надеяться же, что кто-то возьмет у беременной женщины тяжелую сумку да еще и поддержит ее на скользком разъезженном снегу.

Меня уложили в коридоре на диване (утром, после чьей-то выписки, перевели в палату), и тут я, опять без свидетелей, несколько часов, почти не переставая, проплакала. Но я плакала не как Весли Джексон — обо всем по порядку и получая облегчение. Нет, я плакала о своих несчастьях, о своих детях, о Юре Галанскове, которого два года назад мучили в Кашенко же, вспомнила стихи и еще больше заплакала, и чем больше я плакала, тем тяжелее мне становилось. И все-таки, в конце концов, я уснула.

(Конец записки.)

Стихи я вспомнила свои. В марте 1966 года, вскоре после процесса Синявского и Даниэля, перед самым XXIII съездом, Юру Галанскова с помощью милиции увезли в эту же больницу. Вероятно, чтоб он не вздумал демонстрировать у Дворца Съездов (как демонстрировал когда-то перед американским посольством). Я редко пишу стихи «по поводу», но когда мне рассказали, как измучен Юра, как он еле держится на ногах от «лечения» стеллазином, то под влиянием этого рассказа и всего тяжелого настроения той весны я написала стихи.

Ю. Галанскову

В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугбор.

Так во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.

Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой.

А теперь «потемский конвой», лагерь в Потьме ждет самого Юру, а я столь же внезапно и насильно помещена в ту же больницу имени Кащенко.

Конечно, мне повезло больше, чем Юре Галанскову два года назад или Алику Вольпину теперь.

— Почему же они тебя выпустили? — спрашивают многие.

И правда, думаю, может, не было никакого указания? Может, сами врачи роддома дошли до такого безумного решения? Это, кстати, было бы еще страшнее: неограниченный произвол, который выглядит почти естественной принадлежностью органов госбезопасности, оказался бы естественным и для целого коллектива врачей — то есть людей самой гуманной профессии. Врачей родильного дома — в их руках жизнь наших нарождающихся детей! Это слишком дико.

Гораздо вероятней, что на них нажали (прямо или деликатным намеком), а дежурному психиатру дали прямое указание. Возможно, действовать дальше, давать указания врачам в больнице, никто не стал, считая, что машина уже пущена в ход. Возможно, что на врачей роддома, не имеющих опыта в таких делах, легче было оказать давление, чем на психиатров, которые знают, в каких случаях они обязаны подчиниться, а в каких это зависит только от их порядочности (мне, кажется, попались врачи — порядочные люди).

Не будь я беременна, дело могло бы сложиться хуже. Когда меня собирались увозить, я слышала обрывок телефонного разговора санитары с больницей: «Семь месяцев! Нет, нет, не семь месяцев — 26 недель!» А второй санитар в машине сказал мне: «Вот, для вас так старались, еле выпросили, чтоб вас приняли, а вы...» Видимо, больница не очень хотела связываться с этим сомнительным делом. И скандал, если бы меня продолжали там задерживать, вышел бы намного скандальнее, чем в любом другом случае.

Но не будь я беременна, меня и забирали бы не из роддома, а прямо из дому, грубо и откровенно, как Вольпина. А сейчас я не могу поймать их за руку, и

все, что высказываю, остается чисто предположительным.

Не знаю, убедительна ли для других моя убежденность в том, что органы госбезопасности здесь замешаны. Но так это или не так, произвол очевиден и вопиющ, кто бы ни был его вдохновителем.

И последнее, что я должна сказать. Если меня хотели запугать, выбить из колеи, психически травмировать — из этого ничего не вышло. Я спокойна, я спокойно жду ребенка, и ни ожидание, ни рождение его не помешают мне заниматься тем, чем я пожелаю, — в том числе участвовать в каждом протесте против каждого проявления произвола.

Москва, март 1968

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО О ДЕМОНСТРАЦИИ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 25 АВГУСТА 1968**

Главным редакторам газет «Руде право», «Унита», «Морнинг стар», «Юманите», «Таймс», «Ноей цюрхер цайтунг», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», и всех газет мира, которые опубликуют это письмо.

Уважаемый господин редактор!

Прошу вас поместить в вашей газете мое письмо о демонстрации на Красной площади в Москве 25 августа 1968 года, поскольку я единственный участник этой демонстрации, пока оставшаяся на свободе.

В демонстрации принимали участие: Константин Бабицкий — лингвист, Лариса Богораз-Даниэль — филолог, Вадим Делонэ — поэт, Владимир Дремлюга — рабочий, Павел Литвинов — физик, Виктор Файнберг — искусствовед и Наталья Горбаневская — поэт.

В двенадцать часов дня мы сели на парапет у Лобного Места и развернули лозунги:

«Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (на чешском языке), «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!». Почти немедленно раздался свист и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском: они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая они кричали: «Это все жиды! Бей антисоветчиков!».

Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. Виктору Файнбергу разбили в кровь лицо и выбили зубы, Павла Литвинова били по лицу тяжелой сумкой. У меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали: «Расходитесь, подонки!», но мы продолжали сидеть. Через несколько минут подошли машины, и всех, кроме меня, затолкали в них. Я была с трехмесячным сыном и поэтому меня схватили не сразу. Я сидела у

Лобного Места еще около десяти минут. В машине меня били. Моего ребенка тоже отвезли в милицию и в течение шести часов мне не давали кормить его.

Вместе с нами были арестованы несколько человек из собравшейся толпы, которые выражали нам сочувствие. Отпустили только поздно вечером. Ночью у всех задержанных провели обыски по обвинению в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Один из нас, Вадим Делонэ, был уже ранее условно осужден по этой статье Уголовного Кодекса РСФСР за участие в демонстрации 22 января 1967 года на Пушкинской площади.

После обыска я была освобождена, видимо потому, что у меня на руках двое детей.

Меня продолжали вызывать для дачи показаний. Я отказывалась давать показания об организации и проведении демонстрации, поскольку это была мирная демонстрация, не нарушавшая общественного порядка. Но я дала показания о грубых и незаконных действиях лиц, задержавших нас, и готова свидетельствовать об этом перед мировым общественным мнением.

Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли, хоть на мгновение, прервать поток разнузданной лжи и трусливого молчания, и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, — придает нам силу и мужество.

Наталья Горбаневская

28 августа 1968 года.

Москва, Новопесчаная улица, дом 13/3, кв. 34.

О Г Л А В Л Е Н И Е

СТИХИ ИЗ «ФЕНИКС-61». Стихи 1956-1961 годов.

«А невода полным-полны...»	7
«Мечтательные недоноски...»	8
«Какую музыку играют...»	9
«О друг мой!...»	10
Грибной дождь	11
«А! Многоликий — да ты оказался безлицым...»	12
«В крае Ярослава Осмомысла...»	13
«Опять в висках бессонница гудит...»	14
«Мне горе сводит губы. Не сегодня...»	15
«В некрологе написано — поэт...»	16
«Изнеможение любви...»	17
«Перелистай меня до корочки...»	18

ИЗ «ВТОРОЙ КНИГИ СТИХОВ». Стихи 1962-1963 годов.

«Глядите на подоконник...»	21
Концерт для оркестра	22
«Как андерсовской армии солдат...»	23
«А чего ты? А я ничего...»	24
«Стрелок из лука, стрелок из лука...»	25
«Вот солнышко. Оно без тиражей...»	26
Анне Ахматовой	27
«Пора понять начало всех начал...»	28
«Мой Фортинбрас, мой бедный брат...»	29
«Но это только ветра свист...»	30
«Свело мне руки водою ледяной...»	31
«Все равно потом нипочем не вспомнят...»	32
«О город, город, о город, город...»	33
«Я в лампу долюю керосина...»	34

ГРАНИЦА СВЕТА. Стихи 1964 года.

«Что о беде да что о красоте...»	37
Три стихотворения Иосифу Бродскому	38
«Куда полет? Куда порыв?...»	40
«В аракчеевом Чудове...»	41
«За рифмой не гонюсь...»	42
«Твой взгляд ложится мне в глаза...»	43
«Только пламенем в пролете...»	44
«Куда ж ты, сердце? вечно ни к селу...»	45
«Вот оно, кино...»	46
«И сладостно, и сладко, и несладко...»	47
«А ты, свеча, решил, что я подсвечник...»	48
«Что-то со мной, что-то...»	49
«Какое счастье наконец...»	50
«Ничего за собой не оставлю...»	51
«Любовь моя — рассеяное облако...»	52
«Утраты мои по утрам ощутимей...»	53
«Пить пойдем! — зовет перепелка...»	54
«В тридевятой жизни, счастливая случайность...»	55
«— Не тронь меня! — кричу прохожим...»	56
«Не избыть беды, не избежать беды...»	57
Три стихотворения, написанные в дороге	58
«Прохожий — проходи!...»	60
«Шарманка, пой, шарманка, вой...»	62
«Сила соленого ветра...»	63
«Поверните небо вспять...»	64
«Смиренно опущу глаза...»	65

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. Стихи 1965 года.

«Говорить разучусь...»	69
«О жизнь моя, междометие...»	70
«А я откуда? Из анекдота...»	71
«Со страниц моих исчезает свет...»	72
«И вовсе нету ничего — ни страху...»	73
Прощание с Кюхельбекером	74

Неоконченные стихи	75
«И к сладости дождя примешивая слезы...»	76
«Сверчок поет в сочельник...»	77
«На шею вешаюсь, как ладанка и крест...»	78
«От возраста дошкольного...»	79
«Не сокруши меня ты, Господи...»	80
Воскресенье	81
«Любовь, любовь! Какая дичь...»	82
«Но нет меня в твоём условном мире»	83
«Окраины враждебных городов...»	84
«Расти во мне, тревога...»	85
«Ни элегий, ни од, ни эклог...»	86
«Снежинки на ресницах закипают...»	87
«Не потому что ты, не потому что я...»	88

ТЕМНОТА. Стихи 1966 года.

«Любовь проотрицав...»	91
«У радостного Моцарта весло...»	92
«Вот и взвидишь ты небо в алмазах!...»	93
«Światła i światła piekności...»	94
«В сумасшедшем доме...»	95
«Ты — горе мое. Ну, горе мое, засмейся...»	96
Суханово	97
«Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень...»	98
«Афродита, белая пена с плеч...»	99
«А это не жизнь и не площадь...»	100
«Смахни со щек блаженство полусна...»	101
«В моем родном двадцатом веке...»	102
«В покрике, посвисте птичьем...»	103
Шестистишия	104
«Горсточку воды...»	105
«...и теплых желтых звезд мимозы...»	108
«Под дождь, как под душ для души...»	109
«Наревешься, наплачешься вволю...»	110
«Москворечье мое, Риверсайд...»	111

«Вот, назначай свиданья в декабре...»	112
«Вот я больна, в жару, в поту малинном...»	113

АНГЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ. Стихи 1967 года.

«Если день — это день, то огонь...»	117
«И другу дорога за то, что	118
«Есть музыка, а больше ни черта...»	119
«Я знаю всех в лицо...»	120
Сонатный вечер	121
«Что навсегда? Что значит навсегда?..»	122
«Страстная, посмотри на демонстрантов...»	123
Беляево-Богородское	124
«Засмейся, несгораемая плоть...»	125
«Как вешняя лыжня...»	126
«Опять собирается вещей Олег...»	127
«Волхонка пахнет скошенной травой...»	128
«И горы глухи, и долины дики...»	129
«Как церковка с высотною стекляшкой...»	130
«Как падает затравленный олень...»	131
«Но в слезах ты еще некрасивей...»	132
«Проклятье! Счастье! Пишутся!..»	133
«Милый, милый, удивленный...»	134
«И жить не хочется, и чувствовать невмочь...»	135
«Горстку снега протяни...»	136

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бесплатная медицинская помощь	139
Открытое письмо о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968	173

